PG3470
.S4
N47
1928

NETOROPLIVOE SOLNTSE

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3470
.S4
N47
1928

DEMCO

00004105694

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Form No. 513,
Rev. 1/84

m 1b 43kon

+ 1р.80к.
5
6-20

PG3470
.S4
N47
1928

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

Netoroplivoe solntse

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Библиотека
Государ. Дома Евсевских
глухонемых
Проверено
520

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»
Ленинград—1928

Р2

[891.71]

Обложка
работы художника
Л. С. Хижинского

Киев. Типогр. ЮЗ'а им. Ленина—692—27.

Ленингр. Гублит № 44627(2400). Тираж 5000.

Медвежонок

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

https://archive.org/details/netoroplivoesoln00serg

Илье Ефимовичу
Репину посвящаю
18 января 1913 г.

МЕДВЕЖОНОК

I

Сибирь—большая;—едешь-едешь по ней—день, два, неделю, полмесяца, без передышки, без останова,—фу, ты, пропасть: такая уйма земли и вся пустая. Вылезет откуда-то из лесу десяток баб с жареными поросятами в деревянных мисах, посмотрит на поезд спокойный обросший человек в красной фуражке, просвистит, как везде, кондуктор, соберет третий звонок пассажиров, разбежавшихся за кипятком,—и тронулись дальше, и опять пустые леса с обгорелым желтым ельником около линии, потом опять станция, бабы с поросятами, человек в красной фуражке, кипяток,—и никак нельзя запомнить архитектуры этих маленьких станций на пустырях,—так они какие-то неуловимые: постройка, и только.

Если бы был я бродягой, я смотрел бы на эти таежные пустыри с восторгом: экая девственная ширь! Но я больше степенный хозяин, чем бродяга: вот идет поезд мимо парня в красной рубахе, прикорнувшего на армяке у костра; парень спит, а ветер погнал уже огонь по сушняку в ельник, и пылают уж мелкие елки, и дымит палая хвоя, пойдет в глубь тайги затяжной пожар, — кто его здесь остановит? Каюсь, огромного леса мне хозяйственно

жаль,—плохой я бродяга. Если бы был я поэтом, воспел бы я сочные верхушки кедров, разбежавшихся с разгону в небо, ясные желтые вечерние зори, туманные утра, ширину быстроводных рек, —и много еще. Но я прозаик, возвышенный стиль мне незнаком, тянет меня к жилью, к яичнице, к самовару... лучше я расскажу об одном медвежонке.

На базар в городишко Аинск приехал с поселка Княжое чалдон Андрей Силин,—продавал чеснок, репу, клетку уток и медвежонка. На базар же вышел, с поваром Мордкиным и денщиком Хабибулиным, командир стоявшего в Аинске восьмиротного полка полковник Алпатов:—любил хорошо поесть, покупал иногда сам провизию на привозе; здесь они и встретились,—Алпатов и медвежонок.

Андрей Силин был белесый мужик лет тридцати, не особенно высок, но что-то уж очень широк в плечах — перли в стороны плечи, напруживши кругло старый армяк, и лапы были кротовьи, плоские, прочные, с черными твердейшими ногтями, с желтыми мозолями круглоты в пятак, с заструпелыми морозными трещинами на суставах; а Алпатов был крупный, бородатый, лет пятидесяти трех, с красной толстой шеей и кровавыми щеками; говорил со всеми так, точно всеми командовал: сердитым тяжелым басом, отрывисто тыкал; пучил глаза. Медвежонка не сразу заметил.

— Утки... м-м... почем утки? Любезный, ты-ы! тебе говорю, ты-ы!

— Я ведь слышу.

— Отвечать нужно сразу, а не в носу ковырять!.. Отчего чесноком от тебя прет, ты-ы?

— Да вон, в чувале чеснок.

— Ты и привез даже?—Вот дурак.

— Зачем дурак?—Это я, кому надо, для колбас. Огурцы вот теперь солить,—без чесноку как? Чесноком живем. Всякая птичка своим носиком кор-

мится. У нас его с братами чесноку-то—почитай что две десятины. В дальние места отправку делаем, —чесноком не шути: по восемь рублей тыщу покупают.

В сердитую бороду Алпатова глядел Андрей, улыбаясь щелками глаз:

— Хочешь утков взять,—бери утков. Стоют оне почем? Стоют оне—пару пустяков.

Снял с воза клетушку утиную Андрей, а когда снял, обнаружился на возу медвежонок. Лежал он пушистый, желтовато-дымчатый, уткнувши морду в передние лапы, спал, должно-быть, и вот разбудили. Зевнул глубоко, вывалив острый язык, почесался жестоко за левым ухом, фыркнул, поглядел на Алпатова зелеными дремучими глазами, почесался, скорчившись смешно, еще и за правым ухом, встряхнулся, привстал.

— Ах ты, зверюк!—повеселел вдруг Алпатов. —Продашь?—спросил Силина.

— Пошто не продать?—ответил Силин:—На то привез—продать.

Потрепал медвежонка по загривку Алпатов; медвежонок, играя, отмахнулся лапой, ворчнул даже.

— Веселый!—сказал Алпатов.

— А как же: малой.

И Хабибулин, круглоликий башкир, с огромной корзиной в руках, подошел к телеге, осмотрел звереныша и доложил, сияя, Алпатову:

— Мальчик!

— Кобелек,—подтвердил Андрей.—Кобельки—они не злые, ничего.

Опять зачесался свирепо медвежонок.

— Блох!—сказал Хабибулин, сияя.

— Блошист,—подтвердил Андрей.—Искупаешь, —ничего. Казацким мылом вымой,—повыскочат.

— Ты-ы вот что, любезный,—в носу нечего ковырять, а говори толком: если...—Алпатов обвел

грозными глазами Андрея Силина, уток, желтую горку репы и весь базар и строго докончил:—Если все, то сколько?

— Стало-быть и утков?

— Дурак!—сказал Алпатов.

— И, значит, репу?

— Еще раз—дурак.

— Чесноку сотня пучков...

— Чеснок—к чорту!.. Э-э... бестолочь, братец! В солдатах служил?

— Не... браты служили.

— Вот потому и дурак.

Через четверть часа договорились. По широкой мягкой улице повез свое добро Андрей к дому Алпатова, а Алпатов пошел в рыбный ряд за омулями.

Когда, лет двадцать назад, приехал сюда на службу из России Алпатов и узнал, что у командира полка одиннадцать человек детей, он говорил молоденькой жене Руфине Петровне:

— Руфа, представь, Руфа (испуганно),—одиннадцать!

— Чорт знает что!—отзывалась Руфа.

— Одиннадцать! Нет, как тебе покажется, а (возмущенно)? Одиннадцать!

— Чорт знает что! Какие же? Мальчики? Девочки?

— Разные... И мальчики и девочки. Нет, подумай (насмешливо): одиннадцать!

— Чорт знает что!

Теперь у самого Алпатова было девять человек, —и мальчики, и девочки,—и Руфина Петровна ходила тяжелая десятым, а еще не было ей и сорока лет.

Сибирь — большая, богатая: сто рублей — не деньги, триста верст—не расстояние. Жили плотно, хозяйственно, не торопясь; рожали детей, питали, растили, заселяли пустыри, насколько были в силах.

Человек появляется на свет от двух боязней: от боязни пустоты в себе—вечная женская боязнь, и от боязни пустоты вокруг себя—вечная боязнь мужская. Поезд в полях,—июнь, жара,—кто встречает его с зеленой трубочкой флага у затерянной в глуши будки? Сторожиха, худощекая, корявая, черная от солнца баба, тупоглазая и, конечно, с высоким животом. Поезд в лесах на севере, где дороги мостят плотами из бревен, осень, туман, непролазная дичь, и опять то здесь, то там—будка, „свободен путь", и опять вздутый бабий живот храбро торчит, раздвинув полы полушубка; и в пустых Закаспийских степях, в феврале и в мае и в октябре вечно стоит на посту этот высоко торчащий живот и зеленый флажок над ним: путь свободен. Так из года в год, сами вызывая к жизни жизнь, заполняются пустые просторы.

Сидел на кухне Андрей, пил чай, рассказывал Алпатову, откуда взялся медвежонок.

— Было у нас пара лошадей,—Соловой да Серый. До чего дружны были—страсть: с жеребят в паре. В луга летнее дело пустишь,—вон какие спины наедят,—жело-ба!.. Случись раз,—в этим месяце, в августе—задрал Михал Иваныч Серого, а Соловой убег. А мы, нас четыре брата,—хорошо это дело не разузнали, — может, жиган какой увел, —летнее дело шпана бродяжит... Солового беречь бы, а он тоскует без Серого, не ест, тоскует, голос подает... Со скуки так и ушел,—на то же самое место убег:—задрал и его, стало-быть, Михал Иваныч. Тут уж мы их разыскали обоих: здесь Серый, какая остача лежит, здесь, подальше Соловой,—мошки на нем—туча... Жалость взяла. А нас четыре брата: Пармен, Силантий и, значит, Иван еще, да я... Сердце взяло!.. Топоры брали,—так умом-то

думаем: он еще на то место прибудет, может еще ему кака лошадка... Ждем. Так к утру дело,—фырчыть—лезет. А у Ивана ружьишко было,—дрянковато, на рябцов когда, дробовое... Он его лясь дробью!.. Как выходил, стало-быть, на полянку эту,—он его лясь!

— Так что же он его дробью с дальней дистанции,—какой же смысл в этом? Вот дурак.

— Нет, он не то дурак, а это чтобы озлить: он бы человека учуял, гляди, опять задним ходом в дебрь:—ищи его. Вот хорошо. Михал Иваныч наш на задние лапы вскочил, в рев, на нас целиком, головой мотает,—в голову он его, Иван, а мы с топорами. Иван опять все поперед всех: поперек лапы передней топором его—лясь!.. Ему бы отбечь посля, а он норовил его, стало-быть, по другой лапе... Кэ-эк сгреб его, Ивана, лапой этой за плечо, значит, сгреб, а Пармен у нас до чего здоров! Осерчает: бросай, ребята, топоры, мы его голыми руками задавим! Топор, оголтелый,—положил,—кэ-эк уцопит это место за шею,—нет, врешь! Нет, брат, врешь, стало-быть!.. Михал Иваныч туды-сюды головой, туды-сюды мотает, а лапами орудовать если, —ему нельзя, и дыхания нет, и Пармен уперся это, быком, с лица весь кровью залился, а Силантий смотрит,—язык без путя болтается, он его, Михал Иваныча, за язык,—так и вырвал... Я уж в это дело не встревал,—вдвоем задавили. Я только Пармена не послушал,—топором по боку два раза,—как у него самый окорок и где—туда. Поранить нас всех поранил: Ивану,—ну, это уж он сам бестолков,—ему он плечу повреждение сделал,—ну, ничего; Силантий,опять об клык напоролся;Пармену он клок волос с кожей содрал,—ничего, зажило; а мне вот так когтем по ноге,—пимы на мне были,—скрозь пимы черябнул. Так уж нас и звать стали Деримедведи; все были Силин да Силин, а теперь уж нам и

названия другого нет: Деримедведь. Не то что, стало-быть, он нас задрал, а что мы его сами задрали.

— Ну, ты это что мне заливаешь? Дурак. Хороший медведь так не дастся, дудки!

— Медведиха... Медвежонок откуда же? От ей. Другой был,—с сердцов его Пармен ногой затоптал. А этого уж я не дал. Я его молоком из мисы поил,—думаешь как?—Он молошный.

— Какая же в тебе такая сила?—не поверил Алпатов:—Ну-ка, на, бери кочергу.

— Я не о том, что у меня сила: браты здоровы... Я так себе, я проти их заморыш.

— Садись на пол.

— В перетяги?—спросил Андрей.—Я ведь не об себе...—Поплевал на руки, ухмыльнулся.

Уперлись они с полковником нога в ногу; не успел крякнуть полковник, как поднял его с полу Андрей.

Осерчал Алпатов.

— Ты-ы, дурак, срыву! Зачем срыву?.. И взяться мне дай.

— Тут не в том дело,—срыву; тут в чижельстве дело,—усмехнулся Андрей.—Выхожу я пуда на двое легче,—и то сижу.

Опять уперлись нога в ногу. Потянул Алпатов, —ни с места Андрей, потянул Андрей,—повалился на него Алпатов.

Повар Мордкин кашлянул в кулак и отвернулся, Хабибулин цокнул и покрутил головою, а Андрей взял кочергу под-мышку.

— Вот, как клюки не жалко,—я из нее фертик сделаю,—жалаешь?

Перегнул ее в дугу, связал в узел и концы закудрявил.

— Вот и фертик... Ведь как-никак из тайги домой по двенадцать пудов чувалы с орехами таскаем... Как это тебе?.. Шуточки...

Любил силу Алпатов. Усадил его еще и обедать, напоил водкой. Хабибулин при нем вымыл в корыте медвежонка в теплой воде с казанским мылом. И Руфина Петровна, прочная в кости дама, снисходительно смеялась над ним: так забавен был мокрый, головастый, отбивающийся лапами, по-ребячьи фыркающий звереныш. Приказала только обрезать ему когти покороче. Обрезали. Заспорили со всех сторон дети, чей будет медвежонок: семилетнему Мите, восьмилетней Оле, и Наде, и Пете, и Виктору-кадету, и пуще всех малышам—Ване и Варе,—всем хотелось присвоить себе медвежонка. Решил Алпатов, что будет он божий. Назвали его коротко—Миш.

II

Я далек от мысли рисовать сложную жизнь алпатовского двора, где поселился в новой березовой конуре медвежонок. Двор был обширный, обнесенный плотным забором, утоптанный крепко, обставленный птичниками, конюшней, коровником, каретным сараем, на всем этом легли тяжело слоеные крыши из розовых новых сосновых обапол, скребли куры—лонгшаны, важничали тулузские гуси, крякали утки—белые с красными мозолями над клювом, болмотали индюки белые и серые, —много скопилось крикливого земного добра. И собаки были: Шарик, Куцый, Барсук, Лягаш, Джек и Мэри; и было где кучеру Флегонту проводить пару дышловых лошадей, не особенно породистых, но рослых, дюжих и подобранных тщательно под масть,—вороных, белокопытых: два белых копыта у одного, три у другого.

Иногда появлялся из дома кот Повалянушка, серый, огромный, туземный кот—тринадцати фунтов весом. Староват был,—все больше спал: подсунут ему мягкую подушку,—и дрыхнет котище,

Когда раз поехала по железной дороге куда-то поблизости Руфина Петровна с Петей, который был тогда грудной, то на первой же остановке выскочила Пелагея мыть внизу в ручье Петины пеленки.

— Куда ты? Куда ты?.. Назад!—кричала Руфина Петровна.

— Ничего, барыня,—помою, нельзя.

— Садись, не выдумывай,—поезд сейчас пойдет!

— Подождет, ничего.

— Садись, — останешься: второй звонок!..—Звенел второй, за ним тут же третий,—влезая тяжело на лесенку, недоуменно ворчала Пелагея:

— Какие деньги плочены, да не подождет... Вот дивно! И нешто же мы им простые?

На сон грядущий говорила детям протяжно про колдунов и ведьм, и сказала раз семилетняя Оля:

— Ах, если б их всех-всех на свете не было, колдунов и ведьмов,—вот хорошо бы!

— Что ж хорошего?—ответила Пелагея.—Слова нет, — хорошо, только это перед концом света будет.

— А после что будет?

— После конца-то тогда уж одни святые люди жить будут.

— Чем они святые?

— Так они свято жить будут, без гнева.

— А солдаты тогда будут?

— Нет, ничего этого не будет.

— А... а... вот... чибрики тогда будут? (Очень любила чибрики из сладкого творога).

— Да ведь они бестелесные будут, святые-то... А питаться будут манной; бог посылать будет.

— А ты до этого доживешь?

— И-и, где мне,—да и вы все не доживете.

— Вот хорошо как! И не надо, не надо! Вот хорошо.

ИНВ 701/466
Государ. Дома Просвещения ГЛУХОНЕМЫХ
520

Радостно прыгала и била в ладоши и обнимала няньку. Но лампадки ночью перед иконами благостно сияли во всех детских, розовая—в розовой, синяя—в синей, желтая—в желтой, и от этого иконы были лучисты, таинственны, ласковы и красивы:—святы.

В гостиной мебель была церемонная, чинная, исключительно для дам; мужчины же косились на нее недоверчиво, слегка пробовали руками спинки из бархата, помпончиков и штофа, и отходили, покашливая и кряхтя.

— Садитесь, пожалуйста, что же вы стоите!— упрашивала Руфина Петровна.

— Насиделись и дома,—кланялись гости,—только и делаем, что сидим.

Тут на полу были густые ковры, а по углам японские веера и цветные фонарики;—в столовой же висели картинки из охотничьей жизни, резные из дерева зайцы головами вниз, черные лебяжьи лапы, и еще многое, что должно было возбуждать аппетит. Над огромным прочнейшим столом здесь висела добродушная широкая лампа с хрустальными висюльками в виде четырех связанных лир. В уголку одной лиры зияла щербина: это капитан Кветницкий, когда обмывал у себя Алпатов орден Владимира 4-й степени, поднял за него бокал.

Иногда, больше в будни, когда не было гостей, в столовой обедали и дети, но в кабинет отца, где стояла гордость Алпатова—по случаю купленная старинная мебель из мореного дуба,—дети заходили редко, урывками, как мыши, и тут, подымаясь на цыпочки, разглядывали два шкафа: один с уставами, с томами „Разведчика“, „Инвалида“, „Свода военных постановлений“, с важными бумагами в синих папках, и другой—с зеленым от старости медным шлемом, зубами мамонта, найденными в подмытом берегу речки Тептюги, рапирами, бердышами полдюжиной уродливых китайских богов.

IV

Аинск от железной дороги стоял верстах в семи; кажется, тем только он и был замечателен, что стоял так близко от дороги. Прежде, когда „тайга гремела", сюда приезжали прокучивать золото, но отгремела тайга. Прежде по речке Тептюге ловили здесь много рыбы, били выдру, сводили лес и сплавляли. Но отловилась рыба, перевелась выдра, сильно поредели таежные делянки, хотя лесопилки и повизгивали еще кое-где. И если чем жив был этот городишко, то только полком.

Небольшой, но дружный полк пророс здесь во все стороны, всюду пустил корни, все переслоил, перевязал, перероднился, перекумился,—одна семья. С полком слиты были все здешние радости и надежды. Казалось, только вырви отсюда полк,—и тут же капут городишке:—распадется, как комок сухозему, и перестанет быть.

И потому-то крупнее всего, что было здесь, был Алпатов, и нравилось всем, что он такой уверенный, выпуклый, важный, неторопливый и свой.

А ему год за годом примелькались тут все, и каждый круглился перед ним в особицу со своим обликом и именем, потому что был он прост со всеми, любил спрашивать, и памятлив был на имена.

Даже Машку Бубнову, невоздержанную девку, мать четверых малых ребят, знал Алпатов, и когда подходила она к нему на улице, часто кланяясь, и говорила певучей скороговоркой:

— И-и, конца краю нет мучениям! Совсем я, ваше благородие, на нищем полозу!.. На житье сиротское, на ребят моих солдатовых, на наши картины туманные приходи только посмотреть...—и подносила фартук к глазам,— Алпатов медленно давал ей двугривенный и говорил: — Иди с богом.

В Аинском клубе, и основателем которого, и несколько лет членом был Алпатов, повесили на почетном месте его портрет, писаный с карточки местным живописцем Аверьяном Собачкиным, который божился даже, что за пятнадцать рублей масляными красками лучше сделать нельзя. И когда город решил на одной грязной площади разбить общественный сад, Алпатов посылал солдат копать ямы, посылал с артелками в тайгу за молодым березняком и ельником, сам вымеривал шагами и разбивал дорожки, сам обрезал корни,—столько хлопотал над этим садом, что аинцы и самый сад назвали Алпатовским садом.

Казначейство в Аинске стояло мрачное, с облупившейся штукатуркой, с выбитыми стеклами вверху в архиве, и бесчисленных сизых голубей ничем нельзя было убедить, что это не для них, а казначейство. Но женская прогимназия была и того хуже: старый, осевший деревянный дом с тесовой крышей, гнилой и дырявой; и даже мох на крыше был древен годами; молодой мох ярок, зелен, весел и, как все молодое, приятен для глаз, а пожилой нехорош: шершавый, жухлый, стертый, местами седой и,— если не приглядеться к нему, а взглянуть сразу,— даже как-будто страшный.

И учителя попадались странные: то анекдотисты, то пьяницы, то сутяги,—а один до того ясно представил, что воздух классов ему смертельно вреден, что никогда не заходил ни в один класс: стоял закутанный в шубу около форточки на улице или на дворе и явственно диктовал отсюда: „Ягненок... в жаркий день... зашел...“ или спрашивал, что такое залог.

Но так сильно хотелось аинцам видеть около себя необычное, громкое, далекое, что именно этого подфорточного учителя и считали под шумок светилом науки, говорили даже, что это—бывший про-

фессор, пострадавший за убеждения, и что у себя дома по целым ночам, не разгибаясь, пишет он какой-то огромный труд.

И исправник здесь был не просто исправник, а сочинитель проектов, и известен был один проект его—как сберечь бродячих тунгусов от вырождения: нужно было собрать комиссию из представителей министерств: внутренних дел, просвещения, юстиции, финансов, миссионера, податного инспектора, воинского начальника и других; отправить комиссию изучать условия жизни тунгусов; дать ей на прогоны десять тысяч; и тунгусы были бы спасены, но проект этот не был принят.

По субботам парились здесь в банях Брёхова, где были даже номера, но такие холодные, что годились только для лета, и подозрительная баба, сидевшая за кассою, если спрашивал у нее кто-нибудь простыню, говорила:

— Простыню на-те, ну, однако, сапоги вытирать простыней этой у нас нельзя... А то один тоже такой сапоги свои грязные вытирал, и с таким это он усердием,—так мы до белого и не домылись.

По воскресеньям мещане здешние, разодетые в оттопыренно-хрустяще-новое, гуляли по тротуару из четырех досок, положенных иждивением суровского купца Мигунова против своего магазина и еще на три аршина дальше, как хватили доски: махнул рукою, не отрезал,—пользуйтесь.

И до того было мало и тесно это место гуляний, что вполне правильно называлось оно аинцами „Пятачком".

Но главное, что делали в Аинске—это ходили в гости. Может-быть, есть люди,—наверное, есть,—для которых это—труднейшая и скучнейшая повинность: гости,—в Аинске не было таких. Приходили и говорили: „Сыграем?.." Пытались жить этак до тридцати лет, а потом только „вспоминали

из жизни". Дамы здесь очень любили лото и стуколку, мужчины—преферанс и винт, молодежь—веревочку и почту. Кому принимать гостей,—блюли очередь, но гостям на всякий случай напоминали записками накануне,—так требовал обычай,—и ходили по нужным домам денщики или стряпухи с общей кучей записок, выкладывали их на стол и говорили, вытираясь: - Вот, выбирайте свою тут,—какая вам.

Были страшные морозы, с огненными кругами и столбами в небе и сплошным птичьим падом, и вьюги, от которых слепли дни, но ничто не могло помешать этой ненасытной жажде общения, и даже весною, когда разыгрывалась Тептюга и затопляла нижние улицы так, что нельзя было ни пройти, ни проехать, в гости все-таки отправлялись привычно:—в лодках, запряженных двумя-тремя лошадьми, цугом.

V

Потому ли, что Алпатов был высок и красен, всех выше и всех краснее,—и громкоголос, и бородат, и грозен,—хозяин со всех сторон,—или потому, что возился с ним по-отечески снисходительно любовно, только его особенно отличал медвежонок и играл с ним забавнее и шустрее, но зеленый дремучий глазок выбивался из дыма пушистой шерсти то справа, то слева: навстречу высоким старым серым глазам Алпатова полз снизу лукавый, лесной, щенячьи молодой, зеленый, упорно наблюдающий глазок.

И однажды неприятно это стало Алпатову, и буркнул он: „Ты что это, дурак, а? Какой глазастый дурак, чорт тебя дери!" но тут же неловко стало, что буркнул вслух, и, чтобы загладить это перед самим собой, возился с ним Алпатов после того преувеличенно долго, переворачивал на спину,

щекотал под лапами, давал кусать руку, стоял перед ним на корточках, пока не затекли ноги.

Чтобы не было скучно Мишке, завели ему товарища, щенка Дуная, такого же пухлого и лобастого серого, с белой звездой во лбу.

С месяц прожили они в одной конуре, то играя неуклюже, то ссорясь, потом куда-то пропал Дунай, должно-быть, увязался на улице за какой-нибудь проезжей чалдонской телегой и ушел в тайгу; а повар Мордкин, человек спокойный и толстый, решил, что это он сгинул, как и быть должно, от медвежьего запаха.

А уж захолодало. Выпал снег. Из лесов ближе к жилью придвинулись огромные стаи чечеток, и Виктор-кадет мечтал в своем корпусе о пороше, о лыжах, о путанных заячьих следах. Неизвестно, от скуки ли, или от холода, чтобы согреться, иногда забивался Мишка в пустое полутемное стойло и ходил там из угла в угол упорно, настойчиво, однообразно, как человек: был похож на очень занятого какою-то сложною мыслью, которую никак нельзя распутать и разъяснить, если только не ходить из угла в угол. Маленький, таинственный, лесной—протоптал в стойле заметную дорожку; примял солому плоскими лапами, и не лежал на ней, не зарывался в нее,—только ходил и думал.

— Ты что это, а?.. Миш-Миш, ты зачем это?—спрашивали дети.

Отбивался от них и ходил упрямо.

Спрашивали Флегонта;—отвечал, разводя руками:

— Кто его знает,—зверь.

Спрашивали отца.

— Его дело,—говорил, подумав Алпатов.

В декабре же, ближе к середине, Миш как-то уснул в конуре и что-то спал долго, потом встал, беспокойно пофыркивая и косясь по сторонам, и

принялся медленно таскать к своему логову щепу, старые метлы, солому. Догадались, что готовится сосать лапу; принесли хворосту, закрыли им со всех сторон конуру, и Миш покорился непреодолимой спячке. Его не было, но он был. На алпатовском дворе без него стало просторнее и скучнее, но знали, что он никуда не ушел, что он тоже здесь, и каждое утро дети подходили к куче хвороста посмотреть,—идет ли пар. На хворосте пар оседал густым шершавым желтоватым инеем; дети счищали днем этот иней, а на утро он налипал вновь. И сначала удивлялись, как это может он так долго спать,—потом привыкли. Запрягали Барсука в санки, накрывали щеглов и чечеток лучками внизу на репейнике, а для снегирей привязывали силки на длинные, как удилища, палки и тихо подсовывали им под ноги на березы.

Зимой куда хочешь—дорога. Приезжали из глухих дебрей тунгусы с пушниной, а также для взноса ясака, и аинцы, те, что попроще, охотились за ними, как они за куницами, даже и называли их не людьми,—просто „тварью".

Зимою сугробы на улицах бывали так велики, что для ходьбы около домов, как траншеи копали узкие, тихие, синие коридоры, и оттого, что снежные стены подымались выше деревянных, в домах было темно и скучно. От скуки спали зимою как могли много, а от затяжного спанья еще гуще скучали.

Но то, что у Алпатова на дворе, как в берлоге лесной спал медвежонок, искренно веселило аинцев.

Спрашивали с молодым любопытством:

— Спит?

— Спит.

— Ишь ты его (добродушно), спит!.. Вот язва!

А когда собирались у Алпатова, то первым

делом обхаживали кругом березовую конуру, забросанную хворостом и соломою и щедро укрытую сверху снегом. Приглядывались, слушали, спорили,—спит ли?..

Спал.

VI

Девятнадцатого декабря родился у Руфины Петровны десятый ребенок. Не задолго перед этим маленький Ваня, ее любимец, уличал ее во лжи:

— Какая ты, мама, врунья! Ах, какая врунья!

— Я? Что ты!

— Какая врунья!.. Ты сказала,—если я буду умный, у меня будет еще сестрица. Вот я уже сколько дней умный,—пять дней умный, шесть дней умный,—а никого нет!

Но, хоть и ждала девочку Руфина Петровна,—родился мальчик, большой и крепкий, как все Алпатовы. Назвали его Борисом, и полковник положил на его имя,—как было и с прочими детьми,—припасенные к этому случаю тысячу рублей в банк.

Боба был седьмым сыном, и когда поздравляли Алпатова с наследником,—говорил он о себе значительно:

— Да, вот так-то: семь сыновей... Семь сыновей, да еще и сам соловей!—и подбрасывал крупную голову молодцевато.

Алпатов старел незаметно: сдавал себя времени по волоску, как хорошо защищенную крепость; каждый день, вставая, чувствовал себя, как вчера, и когда спросил его как-то с завистью значительно лысый, хотя и средних лет исправник:

— И отчего это нет у вас ни самомалейшей плеши?.. Удивлен!—Алпатов в свою очередь спросил, как бы удивляясь:

— Это что же такое—„плешь“?

— Иначе говоря,—лысина.

— Как у вас?

— Именно, как у меня.

Внимательно и долго осматривал исправницкую лысину Алпатов и сказал неторопливо:

— Гм... Не полагается по уставу.

Но хоть и медленно, а старел. И так приятно было послушать горластого малыша: кричит и выбрыкивает, малое и верткое, бушует и ссорится с матерью, с нянькой, весь—свое, и, главное,—новое свое.

Как не поноветь в новом? Даже новый мундир молодит. И, строя Бобе привычную козу,—отчего морщился малюсенький нос, чмокали губы и серьезные мутные глазки таращились и жмурились,—чувствовал себя упористее Алпатов и еще молодцеватее носил голову.

На новый год получил он новый орден,—и, хотя был это очередной орден и представил себя к нему он сам еще в июле, все-таки приятно было, что он еще раз отмечен и награжден. На новый же год известно стало, что прямой начальник Алпатова, командир бригады, Подгрушный, вышел в отставку.

Генерал Подгрушный был уже глубокий старик, державшийся только по привычке держаться командиром, как держатся шапки одуванчиков до первого ветра; но иногда забывался он, и тогда не дослушивал ответов, задумчиво перебирал губами, тянул как глухие: „Да-а... Да-а... А-а?“ Путал слова, вставлял в свою речь: „этого“, „как его говорится“, „и тому подобное“, „вообще“, забывал свои же приказы, шашку вдруг называл палашом,—уходил уже от всех этих штыков, выправок и команд в безмятежное, стариковское, мягкое, где никакому осуждению нет уже места, где как-будто накурено сизым кадильным дымом святости, всепрощения, надземной дали: не даром рисуют богаотца глубоким стариком.

На место Подгрушного уже назначен был какой-то штабной генерал, барон, и уже одно это неизвестное: — штабной, барон и новый, — заставляло жалеть о привычном старике ,который запросто обедал у Алпатова, когда навещал полк, ловко шаркая ногою целовал пухлую руку Руфины Петровны, трепал по круглым щекам малышей, добродушно громко смеялся и мигал глазами с вечной слезой.

Алпатов перешел когда-то из гвардии, и потому двигался в чинах быстро, и вот уже восемь лет командовал полком и два года числился одним из девяноста кандидатов в командиры бригады. Знал свою аттестацию, хоть она и писалась секретно:— „Службу любит, здоровьем крепок, труды походной жизни переносить может; несколько излишне тяжел, но держится в седле уверенно: умственных способностей отменно хороших. В поле не потеряется и возложенную на него задачу выполнит с успехом; к подчиненным строго требователен, беспристрастен и справедлив"... и так много, и потом заключение: „Достоин быть командиром неотдельной бригады".

И за это заключение Алпатов особенно любил старика, потому что, хоть и говорится язвительно, что „всякий генерал—поглупевший полковник",—но всякий полковник неизменно желает поглупеть.

VII

Это было основное в Алпатове,—полная ясность всего, что он делал: почему делал, зачем делал, как делал,—и потому меньше всего понимал он неосмысленность, торопливость, растерянность, глупость, и потому так часто слетало с языка его слово „дурак". Была соблазнительная власть казнить, но и миловать тоже было в его власти: поднять голову, почесать не спеша в бороде указательным пальцем,

и сказать, брезгливо поморщившись, расстановисто и очень низким, густым и сочным строевым голосом: „Пошел, ты-ы... к чортовой матери, дурак!“

Но бывают такие дни в жизни каждого, когда и самые расторопные люди вдруг почувствуют оторопь неизвестно почему, как неизвестно, почему вдруг не хочет итти норовистая лошадь: мотает головой, пятится, фыркает, визжит от кнута и бьет в передок повозки задними ногами. 6-го февраля был такой именно день у Алпатова. День был солнечный, оттепельный, даже капало с крыши, и Алпатов приказал запречь лошадей, чтобы объехать казармы, посмотреть утреннюю гимнастику на приборах, но вместо казарм очутился в поле, где, плотно прижавшись к снежным сугробам, полз тяжелый талый ветер и звенел сосульками на березах. И так долго ехал между снегами, казавшимися с море глубиною под очень высоким чистым бледно-синим небом; нагонял и объезжал крестьянские сани (день был базарный); проехал до десяти верст, и взмылились вороные спины, а когда обратно ехал шагом, то вздумал спросить у Флегонта: есть ли причастие у молокан? Никогда не нужно было знать этого раньше, потому и не знал.

— Ваше высокоблагоро...—обернулся Флегонт.

— Говори коротко.

— Так точно, нет причастия.

— М-м... вот как?.. Да ведь и священников нет?

— Никак нет.

— А страшный суд есть?

— Так точно, есть.

— А святые?

— Так точно.

— А рай?

— Все это есть, так точно.

Алпатов всмотрелся в чутко слушающий кусок высунувшейся к нему желтой бородки, остро

почувствовал, как сосет у него под ложечкой, и сказал недовольно:

— Ну, трогай.

Любил четкую машистую рысь Алпатов, и это был первый кучер у него, который знал лошадей и которого понимали лошади, как своего. Алпатов думал, что, если не подыщется кто-нибудь из новобранцев через год, когда уходил в запас этот молокан, нужно будет оставить его в кучерах за плату.

На дворе, когда приехал Алпатов, дети шумно лепили бабу из талого снега, и хорошая вышла баба, но как-раз на самой дороге; пришлось свалить ее дышлом, и дети кричали, собаки лаяли; нахмурясь, вылезал из саней Алпатов, задержал шаг возле мишкиной конуры; поднял маленькую Варю „под самое небо“ на протянутых руках.

— И меня под самое небо!—запросил Ваня.

И Ваню поднял; а шестилетнему Пете сказал,

— Ну, ты уж большая дылда: тебя не подымешь.

Завтракал Алпатов домашней колбасою с кашей и упорно думал обо всей этой шумной детворе: не помнил, чтобы когда-нибудь раньше так думал.

Сказал Руфине Петровне:

— Нужно летом Виктора отправить в Россию, проехаться по Волге, например, а? Пусть-ка посмотрит... Поручик Кривых хотел в отпуск на Кавказ, - вот можно бы с ним: человек серьезный. А может, и сам я буду иметь возможность. А ты как думаешь, Руфа?

Смотрел на нее, широкую, белую, неряшливо причесанную, домашнюю, давнишнюю, всю свою— и ждал. Но она была сердита на кого-то: на Мордкина ли в кухне, на Пелагею ли в детской, на кого-нибудь из детей. Отрезала решительно и упрямо:

— Нечего по Волгам таскаться, и здесь хороши!

Поглядел на нее удивленно: стирала тряпочкой пыль с фарфоровых безделушек на этажерке.

— Гм... Неосновательно ты это...—покачал головой, но не хотел спорить. Вспомнил снега, небо, мелкий звон берез, и то, что думал о кучере: хорошо бы его оставить, когда будет выходить в запас. Готовился сказать это Руфине Петровне и подбирал, не спеша, слова; так почему-то хотелось, чтобы она согласилась с ним в этом, и загадал Алпатов, что если согласится, если скажет коротко и мирно: „Пожалуй, что ж", или „Мне все равно, как хочешь", то перестанет сосать под ложечкой. Но она увидала в окно Флегонта, стоявшего возле калитки с лошадьми в поводу, и Гусар (два белых копыта), нагнувши голову, шарил по талым комьям горячими губами. Забарабанила сердито в окно и закричала:

— Эй, эй! не видишь?.. Подыми Гусару мордочку: снег ест!

И, обернувшись к Алпатову, сказала с сердцем:

— Нужно этого лентяюгу в роту послать! Вот увидишь,—испортит он лошадей... И возьми другого.

С двенадцати до часу сидел Алпатов в штабе полка. С адъютантом, штабс-капитаном Шалаевым, говорил о том, что нужно объявить в завтрашнем приказе. И когда просмотрел, кто назначен дежурным по полку, кто арестован, кто болен, и что-то о каптенармусах и о мундирной одежде второго срока, он сказал вдруг твердо и раздельно:

— Назначить, в виду теплой погоды и прочного наста прогулку полку. Полку собраться к восьми часам утра около новых казарм в походной амуниции. Ротам выдать холостые патроны по три обоймы по числу нижних чинов... Запишите.

Но Шалаев знал, сколько будет бестолковых хлопот с этой прогулкой. Он недовольно посмотрел

на Алпатова, на ясные окна и ответил:—Да, мы назначим, а вдруг завтра ахнет мороз в 60 градусов.—Алпатов оглядел строго костистую красную руку адъютанта и протянул начальственно:

— Прошу-у записать!

Иногда хорошо бывает осязательно, обоими руками в обхват, почувствовать, что ты на земле не гость. Многим знакомо это: сумерки—особенно зимние,—слишком синяя, чернеющая улица в окнах—отдыхающая, дремлющая, настоявшаяся за день мебель около, тишина,—и на минуту, на две ясно зазвучит вдруг в душе каким-то деревянным голосом, как стук снизу в дубовый пол: гость!.. Смотришь на улицу, на мебель, на самого себя в темное зеркало,—а голос все так же тихо и деревянно: гость!.. Тогда становится немного жутко,—зажигаешь лампу, опускаешь шторы, сильнее, чем надо, ходишь по комнатам и стараешься ступать прочней.

Так было с Алпатовым в сумерки, и потом тоскливо ломило шею, сосало под ложечкой, и несвободно было в левой руке.

А вечером Алпатов пошел к своему заведующему хозяйством,—подполковнику Бузуну, потому что была Бузунова очередь выставлять на окно лампу.

VIII

У Бузуна были огромные красные восточные ноздри, а все остальное лицо прилепилось справа и слева, сверху и снизу к ноздрям, как белесый гарнир, к сытому, в меру прожаренному румяному бифштексу: хорошо с гарниром, но недурно и без него. Был он беззаботно весел и прост, и даже молодые субалтерны, едва попавши в полк, называли его не „полковник", не по имени-отчеству,—Никита Фомич, а приятельски ласково—Бубу. Было

у него в разговоре множество присловий, вставок и обращений, кудрявых и мякеньких завитушек: дорогие мои, голуби мои, золото мое, сладость моя,—и когда говорил он, можно было разглядеть его глаза, детски-влюбленные в того, с кем он говорил. Два самых бойких трактира в Аинске принадлежали ему, только торговали там подставные трактирщики,—бывшие фельдфебеля,—и лесной склад на окраине Аинска над речкой Тептюгой был тоже его.

Скрипело звонкое крыльцо Бузунова дома, вздрагивала проволока звонка, бежал на носках денщик отворять засовы,—так было со всеми, кто пришел раньше Алпатова, так было и с ним.

— Здравствуй,—сказал денщику Алпатов.

— Здравия желаю, ваше высоко-бродь!—гаркнул так, что мигом выскочил Бузун встречать командира, и пышная, в лиловом шелковом платье, Бузуниха, заняла собою просвет дверей,—вся радостная улыбка и колыхание, и из-за ее плечей показались головы казначея, лесничего, соборного протопопа о. Герасима, двух учителей прогимназии, капитана Гугнивого, капитана Пухова, поручика Кривых,—и висела над ними ленивая синь накуренного дыма.

Хорошо быть красавицей,—так нуждается в человеческой красоте земля,—итти среди людей и дарить им улыбки, движения, взгляды,—такие легкие, такие неожиданно дорогие, хоть и ничего нестоющие себе: кто-нибудь прикованный забудет о своей дороге и пойдет следом; кто-нибудь остановится и будет долго стоять, как божий блаженный, слепой и радостный: кто-нибудь усталый только проводит глазами дароносящую,—и вот он уже снова полюбил жизнь, а дароносящая не знает об этом и дальше несет то, что ничего не стоит ей и, в то же время, дороже всего в целой жизни... Хорошо

быть красавицей; но не плохо быть и командиром полка, притти в гости к своему штаб-офицеру и уж от самых дверей быть всех заметнее и всех крупнее, уметь сказать два-три игривых слова пышной женщине в шелковом лиловом платье, перейти затем к другой женщине, жене лесничего, даме крикливой, скупой и желчной,—и сказать ей наклоняясь:

— Ничего в жизни так не люблю, как играть с вами за одним столом!—и, дойдя до молодой супруги престарелого хилого казначея, поговорить с ней подробно о ветчине.

— Ну-ка, хозяйка... Вот мы сейчас узнаем, какая вы хозяйка. Как окорок запекается?

— Как? Вот новость какая!.. Вымочить в воде, а потом... потом в тесто: повалять, да в печь.

— Ха-ха-ха... плохая хозяйка! Понятия вы об этом ни малейшего, а окорок запекать,—это целое искусство. Хотите,—расскажу подробно. Возьмите окорок, подымите ему шкуру,—она отстанет,—не ножом только, а пальцами, вот этими самыми пальчиками;—шкуру содрали,—сахарным песком сало присыпьте,—сахару не жалейте: присыпали,—проколите шкуру опять деревянными гвоздиками,—вот после этого уж в тесто. А в тесто отрубей добавьте, а не из чистой муки. В печке же ему стоять полагается, ну-ка сколько?

— Час. Или, может-быть, меньше... Не знаю.

— То-то, - два с половиной часа. Я уж вижу, что вы не знаете. Два с половиной часа для среднего окорока в полпуда. Два с половиной.

И когда, молодая женщина, пожимаясь от невнятной тоски, спрашивает:

— А сахар под шкуру зачем?—объяснить ей:

— Это для мягкости вкуса,—а как же? Для сладости.

И добавить игриво:

— Вот на такой окорок,—ждите не ждите, а уж я к вам в гости приду.

И еще добавить—на ухо, но так громко, чтобы всем кругом было слышно:

— А когда у вас маленький будет,—приглашайте кумом.

Неторопливый и важный, считался Алпатов крестным отцом до полусотни аинских ребят, и не было в Аинске такой глухой улицы, где бы не копались в пыли то Ваня Брехов, то Коля Штанов, то Надя Мигунова,—все крестники Алпатова.

Сначала был чай, а за чаем, если гость отказывался от варенья, лиловая подполковница делала понимающие большие глаза и говорила с растяжкой:

— Ну, конечно!.. Я так и знала, пьете!

И хотя в Аинске все пили, и не пить было никак нельзя, и не варенье, — даже сахар к чаю многими признавался лишним, но как сочла нужным она удивиться этому лет двадцать назад, так и теперь все удивлялась.

Алпатов хотя из любезности и говорил, что любит играть со скупой женой лесничего, но уселся за одним столом с о. Герасимом, казначеем и Бузуном и сам предложил преферанс двойного счета с „разбойником", чтобы игра была азартнее и крупнее.

Не везло; хотелось быть шумным и веселым, но торчала на вскрыше шилохвостая шеперня: ни виста, ни масти. Нет людей суеверней картежников: три раза менял места Алпатов,—садился и в прорезь стола, и в линейку, и опять в прорезь,—карта уходила от него веером: то играл казначей,—старенький, с сухой бородкой, утиным носом и тряской головой, то Бузун, то о. Герасим. И если кому везло, то больше всех ему,—этому львинокудрому протопопу с рысьими глазками: распустил по

зеленому полю черную рясу, сел всех шире и всех приземистей, и раз за разом назначал игру.

— Вы не молебен ли отслужили, о. Герасим, несравненный мой?—ласково спрашивал Бузун.

— Да-а, а-как же? Науму-пророку. Служил, служил.

— И чтобы вам уж кстати за нас-то грешных!— тряся головою, подхватывал казначей.

— И за вас я служил—Флору и Лавру и святому Власию,—служил, служил.

Дерзок был на слово протопоп.

Но знали, что и у себя в соборе он тоже уверенно прост. Случилось как-то на проскомидии, вышел вдруг на амвон со стареньким поминанием, потряс им над головою, гневный и закричал на всю церковь:

— Чье?

Прихлынул ближе к амвону народ; перешептывались, озирались: чье?

— Чье поминание, спрашиваю?

Еще ближе столпились, дышали друг другу в затылки, напирали плечами. Дрожала в крупных пальцах о. Герасима виноватая книжечка, маленькая, трепаная, в красненьком переплетце.

— Да чье же, наконец? Есть ему хозяин?

И вот старушка из-за колонны возле самых дверей:

— Никак мое!.. Ой, тошно мне!.. Никак мое, батюшка.

— Так что ж ты мне, старая палка,—что ж ты мне копейку, а? Копейку за сорок душ, а? Сорок покойников тебе поминать за копейку, ах, язва!

И швырнул, сердитый, поминание вместе с копейкой через всю церковь старухе в ноги.

А то повадился было один баптист встречать о. Герасима на улице и заводить с ним речи о первородном грехе и о спасении и о том, что нельзя

натопить дома, если жечь дрова около него, а нужно топить внутри,—и спасешься. Начинал издалека, сознавался в мучительных сомнениях, спрашивал совета и справлялся, как гласит писание; но сам писание знал куда лучше о. Герасима, ни в чем не сомневался, и то на том, то на этом ловил его ехидно. Однажды надоело это протопопу.

— Ты—бабтист, значит—от бабы. В православие ты не пойдешь,—вижу. Не хочу говорить с тобой. Пошел!

— Батюшка,—это неправильно. Конечно, и вы—от бабы как и всякий человек, только баптисты, это...

Осерчал протопоп, и так как был здоровее, сшиб его с ног и долго бил набалдашником посоха и пынял коленом.

А за свадьбы он, не в пример прочим попам, назначил по рублю с ведра водки, и тут не ошибся: в Аинске неслыханно много пили на свадьбах.

Отгорели наполовину свечи. С каждым часом записи протопопа делались все длиннее.

— Ничего с ним не поделаешь—скромно сказал о нем казначей, поводя головою.

— Его день, его,—добавил Бузун.

А Алпатов внимательно осмотрел всего о. Герасима,—показался он ему—красный, толстый, волосатый—похожим на ярого быка, и не скрыл он этого,—толкнул Бузуна:

— Эй, не стой на дороге: землю роет!

И удивились даже, что ничего не сказал на это поп: только сощурил злые рысьи глазки и выдохнул носом.

За ужином много пил Алпатов, заливал проигрыш, боль под ложечкой, смутную стиснутость, связанность и тоску,—и очень хотелось подшутить то над тем, то над этим. Капитана Пухова, весьма безобразного человека, с двумя красными шишками

над правой бровью и на шее, вечно потного, мокрого, с глубокими морщинами вдоль щек,—весело назвал милашкой; казначею, с молоденькой женой которого говорил о ветчине, погрозил пальцем и подмигнул значительно: „Поглядывай, старче, посмат-ри-ваай!..“ Учителя прогимназии Ивана Семеныча, сидевшего с ним рядом (не того, который диктовал в форточку, а другого), хлопнул по плечу и сказал ему вполголоса что-то такое, отчего Иван Семеныч замахал руками, потом прыснул и покачал головой. Лесничий, сырой хохол Зозуля, яростный охотник, прославился одним зайцем: составилась веселая охота без гончих, и затеяли подшутить над Зозулей. Никому не дал он первого матерого зайца, сидевшего на опушке, подкрался, выстрелил—кубарем заяц. Но нашлась у добычи в зубах скромная записка карандашиком: не убивай мене, Зозуля, бо я давно уже убит.—Напомнил лесничему зайца.

И все это делал просто и любовно, как старший, как привычный командир; никого не хотел обидеть,—хотел, чтобы веселее было за столом. И когда столкнулся глазами с о. Герасимом, то крякнул, передернул плечами и пропел с задором:

— У попа-то, рукава-то, ба-тюш-ки!

Но только пропел—вскочил о. Герасим, кудлатый, красный, и глаза, как ракеты, поднял кверху широкий рукав, ткнул пальцем в сторону Алпатова (сидел он на другом конце стола, наискось) и пропел в терцию выше:

— Посмотрите, дурака-то, ма-туш-ки!

И стоял, наклонясь, выжидающе вдохновенный, точно приготовился сразу сочинить еще лихую частушку, если бы ответил Алпатов, и потом еще и еще, и пропеть все в терцию выше и с выражением.

Нехорошо вышло. Казначейша сказала: „Ах, боже мой!“ и замерла, ожидая; пышная Бузуниха поднялась и открыла рот, неизвестно, от неожидан-

ности или от желания вскрикнуть; сырой лесничий зачем-то тянул о. Герасима за руку книзу; появился рядом с протопопом и Бузун, наклонился близко к нему небольшой, до кожи остриженной головою и говорил встревоженно-ласково:

— Извинитесь, о. Герасим. Так нельзя... Родной мой, возьмите ваши слова назад.

А упрямый протопоп кричал:

— Не учить меня, прошу! Я знаю!

И по тому, как мутно было у него перед глазами, Алпатов почувствовал, что он пьян, что все кругом так же пьяны, и больше всех о. Герасим, обидевший вдруг его,—самого крупного, самого почетного, самого старшего здесь по чину; и неловко стало перед всеми, а больше всех перед ротными командирами и поручиком Кривых.

— Все мы — дураки перед господом: один он умен! Что тут обидного, ну? Что?—кричал кому-то о. Герасим.—И вы—дурак. И я тоже дурак.

В это время Алпатов мучительно думал, что можно сделать с попом, и выходило, что сделать ничего нельзя.

Минут через десять о. Герасим мирился с ним,—свел все к дружески-пьяной шутке; чокались они бокалами с какою-то крепкою бурдой и целовались.

Но остался стыд перед капитаном Пуховым, которого Алпатов назвал милашкой, и перед поручиком Кривых, который молча глядел на него боком, как-будто и ему было неловко, и перед маленьким Бобой, который недавно родился. И потому раньше других ушел он от Бузуна, изо всех сил стараясь держаться преувеличенно пьяно, и весело; еще раз, напоказ крепко крест-на-крест, как на пасху, расцеловался с попом, еще раз напомнил казначейше о ветчине, — как-будто ничего не случилось, — все сделал, чтобы никто не сказал: вошел большим—вышел маленьким.

Небо было просторное, светлое. Затянуло лужи ледком. Хрустели под ногами сосульки, подопревшие днем. Слышны были ретивые колотушки (воровали в Аинске ежедневно). До дому было один квартал,—но он обогнул этот квартал с тыльной стороны, хотелось о чем-то подумать, побыть наедине. Постоял на одном перекрестке, на другом, посмотрел на синие тени на осевшем снегу, посмотрел на небо; но перекрестки были пусты, звезд вверху невиданно много... Обогнул еще перекресток, слушая шаги: шаги его были прочные, широко влипали в землю. Алпатов вспомнил номер своих калош—пятнадцатый,—веселее стало от этого редкого номера калош.

А когда пришел, наконец, к своим воротам и хотел постучать щеколдой, чтобы выскочил Хабибулин,—вдруг услышал знакомое теплое урчанье над головой; поднял голову и отшатнулся: медвежонок... сидел, при луне весь отчетливо черный, на полке забора возле самой калитки; смотрел, пригнув голову, на Алпатова, и глаза светились, как две снежинки.

— Тты, чорт! Как так?—растерялся Алпатов и вдруг не почувствовал темени: холодно стало под донышком шапки. Знал так твердо, что спал медвежонок, — кто же это сидел, урча и светя глазами?

Почуял ли звереныш тепло, или вот теперь именно должен был наступить конец его спячке,—расшвырял он хворост, солому, и вышел ночью, и, может-быть, забыл уже, где он, обошел спросонья огромный двор и пришел к калитке, может-быть, спасался от собак,—хотя их не было слышно,—и полез на забор, цепляясь отросшими когтями, может-быть, потянулся к круглому месяцу, как маленький лесной лунатик,—только сидел он около калитки вверху на широкой заборной полке, над

самой головой Алпатова, тепло, дружески урчал и светил глазами.

— Тты, чорт! Каким же образом?—вполголоса спрашивал Алпатов, и не решался протянуть руку, чтобы привычно потрепать по холке. И тут, неожиданно, согласился он вдруг с протопопом и подумал про себя отчетливо: „да, дурак“.

В эту ночь спал он плохо, а утром разбудила его шумная детская радость: так ушел от зимы Мишка и так долго прятался в конуре, точно лежал в гробу мертвый, и так самовластно вышел вдруг тощенький и шершавый, точно воскрес. И для всех это была радость: Флегонт добродушно чистил конуру, как стойло, наложил туда свежего сена, напоил Мишку из чистого конского ведра; мису теплых щей вылил в его корыто белый повар Мордкин, Хабибулин, сам как леший, стоял перед ним на корточках, разговаривал по-башкирски, чесал клочковатую шерсть, даже блюдечко меду прислала ему с детьми строгая Руфина Петровна. И взявшись за руки дети прыгали около него, как маленькие язычники вокруг идола, и заклинали на один голос:

Миш-Миш, ешь-ешь,
Ешь, Миш,—Миш, ешь!

Сначала выходило, потом спутались: Меш, ишь, Мышь, мушь... Хохотали звонко, и опять схватывались руками в круг,—Оля, Варя, Ваня, Митя, Петя,—все полнощекие, яркие на зимнем солнце,—и опять начинали хором:

Миш-Миш, ешь-ешь...

И тут же путали и хохотали. И не было предела их восторгу, когда Миш подымался на задние лапы, складывал передние когтями вниз и кивал лобастой головою. А проснувшийся Алпатов смотрел на него из окна и думал: „Нужно заняться

с офицерами тактическими задачами... и проверить ротные отчетности... и заведующего хозяйством... и вообще все. Подтянуть полк..." Это он потому, что вспоминал вчерашний день и карты, и ужин, и протопопа.

IX

Решил, должно-быть, медвежонок, что больше уж не-зачем спать, только на ночь пригребал он к своей конуре хворост и солому и выходил каждое утро шаловливый и веселый, играл с детьми и собаками, много ел, подрастал заметно, нагуливал крепкое мясо,—бурел. Но росло незаметно в нем и свое, лесное, о котором забыли.

Сначала придушил он до смерти бравого, старого белого селезня, и вышло это даже как-будто кстати, потому что селезня этого все равно скоро хотели резать. Потом вскоре из незапертой случайно кладовой выкатил он большой круг замороженной свежины, затащил к себе и здесь долго возился над ним, пока хватились искать; и это ему простили.

Когда же Мишка разодрал в кровь спинку беленькой Мэри, поднялся переполох. Мэри явно страдала, ловила людское участие слезящимися глазенками и выла жалобно, и Джек заботливо и с большой серьезностью зализывал ей длинные, хотя и неглубокие следы от Мишкиных когтей.

Тогда около березовой конуры полукольцом стали, двигая хвостами, собаки, сошлись дети, и повар Мордкин, и Хабибулин, а на крыльцо вышла Руфина Петровна и вместе с нею, поставив вверх по ее клетчатой юбке толстый пушистый хвост, кот Поваляшка, и, увидев перед собою столько осуждающих глаз, забился медвежонок в глубь конуры и оттуда смотрел—не смотрел дремучими глазами: откроет их, поведет ими влево—вправо, вздохнет и закроет.

— В роту его! В казармы! Сейчас же в роту!— рассерженная, красная кричала Руфина Петровна, грозя медвежонку пальцем. Собаки лаяли.

И, как встарину напроказивший дворовый, отправлен был Миш в солдаты, в казарму шестой роты вместе со своей конурой, но Алпатов сам позаботился о том, чтобы ему было сытно, тепло и удобно, и маленького левофлангового тамбовца Ефима Коноплева, мордвина из мещерских лесов, приставил к нему дядькой.

Шестою ротою командовал капитан Цимбалистов, старый человек со многими странностями; конечно, пьяница, едва ли не шуллер, купался до зимнего льда, строил и продавал дома, был большой охальник, большой любитель церковной службы и большой театрал на ротных ученьях: он и под ружьем держал целую роту, и самовольно освобождал от занятий; и целовал иных за успешность, и тут же чуть что отправлял под арест; и задерживал по месяцам денежные письма, и, случалось, в праздники давал солдатам лишнюю чарку водки из своих средств; то бушевал и зверел, то длинно жаловался роте и на начальство, и на жену, и на свою старость; а иногда любил поговорить с самим государем: схватит непонятливого солдата за шиворот, подтащит к портрету государя, возьмет под козырек, выпятит грудь и гаркнет:—Ваше императорское величество! Вот, сами изволите видеть,— вот он, вот!.. Скажите, что же мне с этим окаянным, анафемским, диким, безмозглым иродом делать? Что?.. Что?.. Что?.. — Ответа не было, и летел, наконец, ирод торчмя головой куда-нибудь в дальний угол.

Был Цимбалистов мал ростом и очень длиннобород, носил черные очки, имел рычащий от перепоев, хриплый голос, и когда ходил не в строю, а по улицам, то прихрамывал и опирался на палку,

а за то, что сизый и крупный нос его был какой-то двойной, как бывают сливы двоешки, солдаты звали его Перебейносом.

С Мишкой возился он сам, и это он научил его стоять на левом фланге в строю и отдавать честь, как следует, правой лапой, а глазами встречать и провожать начальство; и когда в роту поступил вольноопределяющийся, студент,—капитан Цимбалистов на третий или четвертый день накричал на него, что не умеет брать под козырек и торжественно повел его к Мишке, язвительно рыча:

— Вы знаете, есть поговорка такая: „и медведёв учут". Ну, иногда с медведями легче... Покажь, Мишка, господину вольноопределяющемуся, как надо честь отдавать. Ну, честь! покажи, Мишка,—честь. Та-ак!.. Еще раз... видали?—Вот. Вот так именно. Учитесь.

И был этот день—днем большого Мишкина торжества.

Но и солдаты баловали Мишку: научили его ходить по кухням, выпрашивать то кочан капусты, то хлеба, и начал он правой лапой отдавать честь, а левой тянуться за подачкой, и больше всего нравилось это последней рядовщине, которая всем козыряла, для которой все были—то начальник, то старший,—нравилось хлебопекам, кашеварам, денщикам, что вот стоит перед ними живое существо, правда, четвероногое, головатое, лохматое, но, во всяком случае, живое, и уж не они ему, а оно им отдает честь.

Так к маю, когда начинают зацветать кедры, лиственницы и сосны, и у черемухи набухают зеленькие кисти, и березы расправляют как следует кисею плакучих веток, медвежонок уж стал полковой. Не было в полку солдата, который не потрепал бы его по холке, не подарил бы ему лишнего куска еды или ни на что не нужной копейки, не

поговорил бы с ним по-рязянски—на „а“, с гнусавой растяжкой, по-костромски на „о“ частым говорком, по-полтавски певуче и ласково, по-башкирски, как журавли,—турлы—мурлы.

Так, к маю:—был полк в лесном захолустье, и в нем Алпатов, знамя, денежный ящик и медвежонок.

X

Май—приятный месяц, и даже здесь, в Аинске, хотя и шли часто обложные дожди, но они были—бесспорные, нужные, теплые: от таких дождей только добреет земля.

Полк уже вышел в лагерь, надел легкие гимнастерки, кончал курсовую стрельбу, когда новый командир бригады назначил смотр.

И так же спокойно, как все, что он делал, Алпатов отдал в приказе по полку: батальонным командирам проверить готовность рот в своих батальонах. Потом покатилось это дальше вниз: к ротным, субалтернам, фельдфебелям,—вплоть до последнего рядового,—в цейхгаузы, пекарни, швальню, на обозный двор.

Как большое тело, ожидающее удара, полк подобрался, ощетинился, напружился, выправил сильные места, спрятал слабые, отправил плохих солдат из рот в околоток, наклеил на всякий случай новые, мишени на старые, простреленные доски, пересмотрел запасы, пересчитал мундиры, хлеб начал печь такой, что аинские бабы и без слов догадались, что генерал едет.

Подполковник Выставкин из первого батальона, скорый на слова, но службист плохой, незадолго перед этим (на время, конечно) поссорился с другим батальонным, Зеленгуром, и потому теперь, проверяя готовность своих рот, он кричал то и дело:

— Это вам что? Второй батальон? А?.. У меня, чтобы службу несли, а не брюхо... Это вам не второй батальон, нет-с! Извините!

А Зеленгур, усатый, понурый, и с одышкой, когда замечал неисправность в своих ротах, говорил язвительно и медленно:

— От покорнейше прошу... Хым... Совсем же это, как в первом батальоне!.. Кому же у них и учиться, как не нам, дуракам? Хым...

Генерал приехал с вечерним поездом. Встречать его на станцию выехал Алпатов с Шалаевым и верховым ординарцем подпоручиком Ткачом. Дорога в стороне от колеи была легкая, но Ткач, точно никогда не ездил верхом,—управлял лошадью сразу всем телом,—и руками, и ногами, и даже правым плечом. Это было первое смутное беспокойство Алпатова—плохой ординарец,—и сердито крикнул ему, подъезжая к станции:—Поручик!.. Не закапывать ре-едьки-и!—и сказал недовольно Шалаеву:—Выбрали тоже сокровище... Спасибо вам!

Когда остановился поезд, и из синего вагона вышел генерал, очень высокий, немного, около самой шеи, сутулый, в небольшой красной фуражке и щегольской шинели, Алпатов двинулся к нему. На платформе толкалось много народу, сновали носильщики, пробегали с чайниками крикливые дамы, но даже дамы расступались перед Алпатовым,—такой он был выпуклый и решительный,—а он сам глядел только в небольшое лицо генерала,—бритое, с подрезанными рыжими усами, с круглыми мешками внизу глаз,—и ставя прочно точные шаги,—ни один ни больше, ни меньше другого,—отмечал дальше у генерала: нос длинный, сухой, с белым стрельчатым переносьем, зубы редкие, уши—топыром. Адъютанта его, необычно свежего, красивого статного штабного подполковника, он взял глазами уж после, когда представился генералу.

Бывают странные встречи: случайно мелькнет перед глазами человек, а его потом долго помнишь. Забудешь иногда тех, с кем вместе рос, учился, служил, а этого случайно мелькнувшего никак не можешь выбить из памяти. Так показалось Алпатову, что если бы генерал и не был его начальником и не был бы даже генералом, и попался бы ему невзначай где-нибудь на улице, а потом навсегда пропал бы из глаз, все равно, он бы его не забыл: нельзя было забыть, а в чем оно заключалось,—незабываемое,—объяснить мудрено.

В четырехместном фаэтоне разместились так: на заднем сиденьи генерал с адъютантом, на переднем—Алпатов с Шалаевым, и пока ехали к городу через вырванные у тайги поля,—теперь теплые на вид под низким солнцем, как сырая на просушке овчина,—все время смотрел в это большеносое рыжеватое, сухое, сухоглазое новое лицо Алпатов, не подобострастно, не наблюдающе, а так как-то находилось в нем больше и больше на что смотреть.

Генерал говорил негромко, с растяжкой, немного в нос, но точно, четко и весьма уверенно, только ударения ставил иногда на таких словах, на которых никто не ставит.

Он спрашивал,—Алпатов отвечал, и сначала отвечал словоохотливо и с готовой улыбочкой, как милый хозяин, желающий занять гостя, потом—по трем-четырем морщинкам около глаз—заметил, что это не нравится генералу. Тогда он круто перешел в излишнюю краткость, похожую на строевую.

— Располо-жены лагери у вас в сухом месте?—щурясь от солнца, спрашивал генерал.

— Место—песчаное, сухое,—тут же отвечал Алпатов и потом думал: „Нужно было добавить—высокое... пропустил“...

— Эпиде-мических болезней в полку нет?

— За все время моего командования полком... — длинно начал было Алпатов и обрубил тут же,— не было.

Ехали мимо поселка Никольское—(двенадцать дворов, из них три раскрытых—стропила, как ребра)—по непросохшей грязной дороге шлепали копыта, и летели в стороны брызги и комья грязи, и задряпанный, усталый, слишком пехотный вид был у рысившего Ткача, и как-то неловко за все это стало Алпатову: так преувеличенно щегольски одет был генерал, так изысканно красив был адъютант его, подполковник, так пахло от кого-то из них тонкими духами, и такие нестерпимо трезвые глаза были у обоих.

Генерал сидел прямо против Алпатова, колено в колено; об ноги его, сухие и длинные, иногда на колдобинах стукался Алпатов, и хотя не виноват он был в этом, невольно как-то прикладывал руку к козырьку. За своею спиною чувствовал он отвалившуюся старательно, чтобы было совсем по-кучерски, спину Флегонта, и когда взглядывал на Шалаева, понимал, что думает Шалаев о новом командире: не мог думать другого, думал то же, что и он: высокомерен.

— Здесь, должно-быть, только яровое сеют?— неожиданно спросил красивый подполковник, показав свежие зубы.

И, наклонившись радостно к нему, обстоятельно начал объяснять Алпатов, какие хлеба сеют здесь яровыми, какие—озимыми, в каких уездах возможен табак, махорка, в каких даже вызревают арбузы... И говорил бы так долго, если бы не кашлянул тихо генерал с чуть заметной улыбкой:—Виноват, я вас перебью... А как заготовляете вы сено для обоза?

От солнца, заходящего за густую синь лесов, все кругом было жидко-золотое; горели одинокие межевые сосны, подымались вечерние, весенние

галочьи стаи, и от них широко и звонко делалось в вышине,—но Алпатов,—не потому только, что было четверо в экипаже, что наклонялась к его фуражке Флегонтова спина, что торчали спереди сухие чужие колена и вплотную сбоку пришлось тело Шалаева, чувствовал себя стиснуто и неловко.

И так тянулась эта стиснутость и неловкость вплоть до гостиницы Чалбышова, где сняли для генерала четыре номера рядом, приткнули у входа пеструю будку и поставили почетный караул.

А не больше, как через двадцать минут, по улицам, обсаженным березами, теперь совсем живыми от миллиона майских жуков (как раз доцветали в это время березы), по лужам, запруженным мирными свиньями, между рядами любопытных трехъоконных один в один домиков, проехал генерал в лагерь. В лагере же на передней линейке, поднятый наскоро Ткачом, ждал его полк. Зашло уже солнце, и все кругом—и лагерь, и плац, и полк,—было такое мягкое, успокоенное, чуткое... Хорошо поются песни в такое время!

Звонкая, чуть дрогнувшая, встречная команда:

— Полк смирно! Слушай... на кра-ул! гг. офицеры!

Намеренно запоздалое, спокойное и не очень громкое, но такое слышное в тишине:

— Здорово, молодцы!

И гулкий, от сердца идущий рев:

— Здравия желаем, ваше прево-сходи-тельство!

— Рад служить с вами!

— Рады стараться, ваше прево-сходи-тельство!

И как радушный хозяин, чуть волнуясь и любуясь и всеми живя,—провел генерала Алпатов вдоль полка, представляя своих офицеров, преувеличенно громко называя фамилии и чины.

Со всеми поздоровался генерал, всем одинаково говоря: „Здравствуйте“, но никого ни о чем не

спросив, и все отметили после, какая у него рука: холодная, узкая, костлявая, и молодой поручик Голобородов все время потом в ротонде усиленно тер свою ладонь о чужие спины, „чтобы согреть“. И у всех остались в памяти узкие, холодные, сощуренные, *чужие* глаза и длинный, как хобот, нос с белым стрельчатым переносьем. Кто-то назвал его за сутулую шею „костылем“, кто-то—за длину „семиаршинным“.

Всякому известно, что хозяйственный смотр бывает после строевого, но строевого смотра нельзя же было начать перед самой зарею, и генерал отложил его на завтра. Он обошел, широко забирая ногами, лагерь, обоз, где тщательно пересмотрел сбрую и подсчитал лошадей, потом кухни и пекарни, где пробовал ужин и хлеб, потом в ротонде перелистал запись офицерских долгов, потом в канцелярии полка, еще оставшейся на зимней квартире, пригласив Бузуна, казначея, других из штаба, приказал собрать книги отчетностей и неожиданно начал хозяйственный смотр.

XI

Сознаюсь, что мне труднее всего говорить именно об этом, о том, как упорно копался генерал в толстых исписанных книгах и в пестрой груде всяких расписок, счетов, ассигновок, квитанций и смет и усердно ловил Алпатова.

Мне жаль Алпатова, жаль уже потому, что нет на земле человека, которого нельзя было бы в чем-нибудь поймать, если хорошенько за него взяться, а полковое хозяйство совсем не такая простая и легкая вещь, как, может-быть, думают иные, и так много в этом хозяйстве всяких отделов, отраслей и книг с длинными сложными названиями... Я пересчитал бы их, если бы это не было скучно.

И не люблю я этих низких, ночных комнат, с казенными шкафами и столами, от которых пахнет лежалыми пыльными бумагами, сургучом, кислым хлебом, смазными сапогами, керосином, мышами и плохим писарским табаком.

Но вот именно здесь, до глубокой ночи все было так необычно и тревожно для Алпатова: своя канцелярия,—и *чужой* генерал, свой рабочий стол, обитый синим сукном,—и за ним длинная узкая спина с ясными лопатками; свои мелкие домашние тайны, казалось бы, глубоко спрятанные, привычные и даже забытые, и вдруг неожиданно легко открывались тайны.

Началось с галунов: было истрачено свыше ста рублей на серебряный галун для нижних чинов, но генерал приказал показать ему этот галун, прищурясь посмотрел и сказал спокойно: „Это из аллюминия". Потом как-то бойко успел сосчитать, что фуражу пошло вчетверо больше, чем нужно, и когда спрашивал об этом Бузуна, очень спутанно и пространно пустился объяснять Бузун, но генерал холодно оборвал его на полуслове. Потом,—на пару обозных лошадей ушло не триста рублей, как полагалось по смете, а девятьсот, и были эти лошади не в обозе, а в конюшне Алпатова,—вороные, белокопытые; и экипаж к ним был куплен на деньги, отпущенные для ремонта казарм.

Каких-то нужных бумаг не успел прислать исправник, и за ними бегали вестовые; в чем-то виноват был старик казначей с трясучей головой, и еще в чем-то воинский начальник. Иногда попадались в книгах загадочные цифры, соскобленные ножом, а на их месте стояли новые, очень уверенные на вид. Перепутаны были записи: то, что должно было попасть в одну книгу, зачем-то попадало в другую; два довольно крупных счета показались подозрительны генералу, и он отложил их, чтобы

проверить после, не подлог ли; и, наконец, остатков от сметных сумм оказалось что-то уж слишком много. Правда, они были истрачены „на нужды полка“, но долго искали к этим тратам оправдательных бумаг, пока не сказал генерал:

— Нет, видно уж не доищемся.

Больше всего путало и сбивало с толку то, что спокоен был генерал, как-будто это самое он и думал найти и, находя, не удивлялся. И странно было видеть—насколько для него было просто все это полковое, как проста и понятна в любой момент шахматная доска начинающих для игрока. Иногда он бывал даже рассеян, курил и следил молча за кольцами дыма, в то время, как румяный подполковник отмечал, что нужно завтра проверить на складах.

Выразительно смотрел на вспотевшего казначея, поручика Дахнова, делопроизводитель, старый надворный советник Рябуха, неистово по давнишней привычке, моргая тонкими черными веками; и наклоняясь огромными ноздрями к уху Алпатова, растерянно шептал Бузун: „Это донос!“

Отворачивался от него Алпатов,—морщась и хмурясь,—противно стало все Бузуново—и гладкая голова, и нос, и шопот,—и когда не обращался к нему генерал, упорно смотрел он в окна. А в окна, светом из окон же и освещенная, видна была напротив такая старая, давно знакомая мирная вывеска на маленькой лавочке: „Спички, свечи и красин“ и внизу четкая фамилия лавочника: „Беспрозванный“.

Алпатов думал, что эта фамилия точно нарочно создана для доноса, думал, что завтра может обнаружиться еще что-нибудь, несравненно более важное, о чем он не знал; думал, что пригласит его, уходя, генерал, чтобы поговорить наедине начальственно, но просто.

Но в час ночи, уходя в гостиницу Чалбышова, не пригласил его поговорить наедине генерал: у подъезда он холодно простился с ним, пожелав спокойной ночи.

В эту ночь Алпатов не спал. Он хотел было разбудить Руфину Петровну, так как было о чем говорить с нею, но она за день так уставала от возни с Бобой, что жаль было будить. А рано утром, едва поднялось солнце, он прошел в синюю детскую, поднял старших—Петю, Ваню и Олю, и в своем вчерашнем мундире с орденами, медленный, выпуклый и простой, пошел не в лагерь, где теперь, знал он, кипуче, в последний час готовятся к церемониальному маршу, а совсем в другой конец Аинска, в поле.

Здесь подымался по буграм и лощинам перед тайгою низенький пока еще и невзрачный иван-чай; в конце июня он расползется на версты кругом—станет весь розовый, пышный, медовый, густой, по брюхо лошади. А желтого болотного куроспепа и теперь было сколько хочешь, и от него, росистого, у бугров и лощинок был счастливо-пьяный, вихрасто-встрепанный какой-то вид.

Сочнейший осокорь молодняк из пеньков по дороге выгнал такие листья, лопух-лопухом, что и поверить трудно было, что это—трясучий осокорь.

Кричали дети Алпатову: „Посмотри!“ Обрывали листья спеша, делали из них зеленые зонтики. Поздний журавлиный косяк еле можно было найти глазами,—до того углубился в небо.

— А куда это они, папа?—спросил Петя.

— Сибирь большая. Их дело. Уж они свое знают.

— А их много, папа?

— Я знаю, я знаю:—маленькая тыща!—заспешил Ваня. Значило это—пятьсот. Свой еще язык был у Вани, и всегда он спешил сказать свое:

скажет и ждет, так или нет, и бегает по всем бойкими глазенками, а тугие щеки надувает зачем-то, как мячи.

На одном из поворотов дороги, в стороне, на опушке, заметил Алпатов сырого лесничего с ружьем на изготовку, издали раскланялся с ним, но ничего не крикнул, чтобы не пугать его дичи.

По плотно убитой тропинке возле дороги вперегонку бежала крепконогая ребятежь,—все в синих матросках с якорями, в шапочках с лентами, и уж когда-то успели жарко загореть у них и руки по локоть, и ноги до колен, и шеи. На белокрылых капустниц и пестрых крапивниц, подкравшись, набрасывались с гиком, а скользкий уж как-то хитро ушел из рук, зашуршал и уполз в валежник.

На привале на подмытых полой водою сосновых корнях, осели матерого Алпатова крупные, складные, полнощекие веселые детеныши. Рядом с красным крестом воткнула ему Оля желтый цветок в петлицу,—даже в ладоши захлопала,—до того это вышло красиво.

Оглядевши кругом синие леса и зеленые бугры и лощины, медленно спросил серьезный Петя:

— Папа, а земля живая?

— Ну, какой ты дурак!—подхватила Оля.—Земля живая!

— А ты почем знаешь?—упрямился Петя.—Может, она и живая!

— Ну, разве ей больно?

— Может, больно... Ты ведь землей не была?

Гладил их, милых спорщиков, Алпатов, думал о вчерашнем и нынешнем генерале и о многом еще. А Ваня повис на его колене головой вниз, заболтал ногами и спросил неожиданно:

— Папа, а ты знаешь, как пароход в море огребается?..—не дождался ответа,—сам ответил сияя:—Хвостом!

И сказал Алпатов, не для них, про себя, только громко:

— Эка ведь, а? Поздно я женился на вашей маме... Не угадал.

От утра сосна вверху была вся дымчатая, потная, густая, и с концов игол скатывались и падали шурша смолистые капли.

Когда возвращался Алпатов и шел по аинским улицам, попалась Маша Бубнова, — худущая, слезоточивая, утиралась фартуком и причитала.

— Совсем я, ваше благородие, на нишшем полозу! Ишь, какие деточки идут—чистые ангелы... А на мои картины туманные, на мое горе душное, на мои-то слезы сиротские...

Алпатов дал ей двугривенный.

Ехал пылко на ямской тележке в дорожной бурке крестьянский начальник Дыбов. Перекликнулись:—В уезд?—В уезд!

Встретился держатель бань Брехов,—не затруднил разговором, только поклонился низко.

А около церкви, там где от главной улицы к церковной площади прорезался проулок, увидал Алпатов о. Герасима: шел протопоп, заняв собою весь проулок.

Снял шляпу, львинокудрый, вытер лицо красным платком, спросил участливо:

— Смотр у вас нынче?

— Да, смотр.

— Что же, сердит приехал?

— Новый, батюшка, всегда бывает сердит.

— Что ж вы это так—гуляете семейно?

— Ничего, рано еще.

Посмотрел поп пытливо и весело:

— Встретился я-то вам на дороге,—ведь вот!.. В такой день поп навстречу! Знал бы, обошел сторонкой,—эх-хе-хе-хе!..

Захохотал, как заржал. Закланялся угодливо, в диком мясе лица пряча глазки; отошел, вспыхивая широкой рясой.

Целую ночь думал Алпатов, откуда донос,—теперь и на попа подумал: не он ли?.. И в первый раз в жизни омерзительным показался Алпатову обыкновенный, простой, веселый человеческий смех.

XII

Сколько раз уже было это, что на полшага впереди Алпатова шел вдоль фронта какой-нибудь генерал, и ветром отдувало его шинель с красными отворотами, и из-под фуражки выплывал его розовый затылок и слышались твердые вопросы:—Фамилия? Какого года? Кто твой корпусный командир? Открой подсумок. Покажи выкладку.

И всегда знал Алпатов, что любит тот или другой генерал: приемы или стрельбу, словесность или чистые портянки, бойкость ответов или хорошие щи (а был один и такой, что любил спрашивать „Верую", и тогда башкиры шли уж совсем не в счет).

Но вот, длинный и узкий в спине, шел новый бригадный командир, по-журавлиному с оттолочкой ставя ноги,—и весь целиком был он чужой и непонятный. И по тому, как внимательно, привычно, но как-будто брезгливо щурясь, читал он строевой рапорт, видно было, что смотр готовится долгий, как суд.

Лагерь сбоку яснел, весь молодой от боярышника и свежей, майской черемухи (сажал Алпатов), от пестрых палаток,—набрякших за ночь и теперь ярко высохших по обтянутым ребрам,—и больше всего от стеклянного голубого шара, беззаботно сверкавшего себе на шпиле ротонды. Лагерный плац чем дальше, тем был синее, и прошлись по

синему вдали темные полоски,—валы на стрельбище; и еще дальше за валами—лес. Под ногами стелилась по самой земле какая-то безымянная цепкая травка, такая вечная, что Алпатов без этой ползучей травки земли и представить не мог, как не мог представить первой роты без этих, на диво розово-вороненых поясных блях, без грудастого молодчаги—капитана Кветницкого и без правофлангового Кобылина, известного тем, что мог съедать за один присест по двенадцати фунтов ржаного хлеба.

Когда приехал на плац генерал, Алпатов пучеглазо вглядывался в него, но он был заперт попрежнему крепко, так же холоден и спокоен, и так же высоко держал брови, только мешки под глазами набухли, что объяснялось недавним сном; вглядывался тревожно и в красивого адъютанта, но у того был такой свежий, ласковый солнечный вид, что Алпатову сразу стало свободнее.

Строго по букве уставов, ничего не изменяя и не вводя от себя, приказал генерал разомкнуть на четыре шага шеренги, на два шага за второй шеренгой сложить на земле выкладку, а скатанные шинели положить на сумки концами во фронт; барабанщиков поставил на четыре шага перед строем,—отделенных, взводных, фельдфебелей, офицеров,—всех выстроил именно так, как полагалось их выстроить для инспекторского смотра, и занялся первой ротой.

Никто не сомневался в том, что, расставив так полк, генерал не хотел пропустить ни одного солдата, и Алпатов вспомнил, что сказал о генерале кучер Флегонт, когда спросил его вчера в свободную шутливую минуту Шалаев: Флегонт сказал всего только одно слово: „Жаден“,—и тогда усмехнулись этому оба, и Шалаев, и он, но теперь понял Алпатов, что Флегонт прав.

На голову выше молодчины Кветницкого, совсем загонял его генерал: жирно пропотел двойной празднично выбритый подбородок.

Сразу все оказалось не так в первой роте: не так пригнаны сапоги, не так мундиры, не так наушники, даже саперные лопатки оказались как-то не так; а когда коснулся чистоты солдатской, рассмотрел генерал даже и черные ногти.

У ефрейтора Балюры не было креста на шее.

— Православный?.. Почему нет нагрудного благословения?

— Де-сь загубив, ваше превосходительство.

— Спороть басон.

Поставил старого солдата Коптева на часы и обманом отобрал у него винтовку.

И, отходя ко второй роте, вкось сказал генерал Кветницкому:

— Плохая рота!

А цветущий адъютант, идя за ним, что-то мелко вписывал в книжечку.

У Пухова разобрали винтовки на разостланных шинелях. Кропотливо и долго выспрашивал генерал, как называются части. Путались. Видел Алпатов и сам, что плохо знали винтовку во второй роте, но генерал сказал ему удивленно и даже обиженно:

— Вы только послушайте, полковник! Послушайте, что они делают!

И обернувшись к бледному, морщинистому, с красными шишками, Пухову, спросил его быстро:

— Вы больны?

— Никак нет,—хрипло ответил Пухов.

— Нет, больны. Потрудитесь написать рапорт о болезни. Вам назначат комиссию для осмотра. Немедленно.

Сказал и пошел дальше, не объяснив Пухову, чем и почему он болен.

Попробовал осуждающе посмотреть на Пухова Алпатов—и не мог.

В третьей роте попался молодой солдат, башкир Ахмадзянов, совсем не понимавший по-русски.

— Как его учили говорить?—спросил взводного генерал.

— Покажешь голову,—говори: голова, покажешь ноги,—говори: ноги,—ответил бойкий взводный—костромич.

— Зубы, наверное, знаешь?—спросил генерал Ахмадзянова.—Знаешь зубы?

Но и зубов не знал Ахмадзянов; не мигая блистал белками, крепко зажал в руке винтовку,—молчал.

— Зачем же вывели его в общий строй?—спросил генерал Алпатова.

— Зачем вывели его в строй?—спросил батальонного Выставкина Алпатов.

И капитан Дудаков, на которого перевел глаза жидкий в корпусе Выставкин, задрал огненную бородку на генерала, поперхнулся было, но сказал твердо:

— Притворяется, ваше превосходительство.

Может-быть и притворялся. Только когда боролись эти Ахмадзяны в байрам совсем по-дикому, по-лесному, перекатами, бросками, перешвыривая друг друга через голову,—любил смотреть на них Алпатов, а солдаты они были трудные, бестолковые, по вечерам собравшись в кружок, выли поволчьи, и иногда бегали из полка и пропадали в безвестной отлучке.

К полдню, когда вплотную занят был пятою ротой генерал, солнцу надоело уже смотреть на него, заволоклось тучей, переполненно-сырой и серой, отчего потемнел лес и плац и лагерь, и потухли штыки. И не от этого ли внезапно понял Алпатов, что генерал не только мелочен, не только „жаден",

не только строг и не только высокомерен: он как-будто и приехал с готовой уже мыслью провалить полк, поэтому и был такой „чужой".

Стало тоскливо,—почти незнакомое Алпатову чувство:—не страх, не сознание оплошности, не сожаление о чем-то, что можно было бы исправить, а только густое томление, тоска. И уж не вмешивался ни во что, ничего не говорил Алпатов,—только, смотрел на всех озадаченно и как-то согласно со всеми:—на ротного, как ротный, на фельдфебеля, как фельдфебель, на рядового, как рядовой.

А генерал шел вдоль фронта,—очень высокий, сухой и прямой, чуть-чуть около самой шеи сутулый, так что голова по-черепашьи тянулась вперед и ярко краснела на ней фуражка, преувеличенно новая, твердая, с широкой тульей и аккуратно обрезанными полями.

И ни в одном слове не сбивался он:—сказал и идет дальше, и нигде не повышал голоса, точно это и не смотр, и он не генерал, точно все это—и полк, и смотр, и командир бригады, и небо в холодных тучах, и сосны на задней линейке лагеря, и он сам, Алпатов, не всамделишнее, а нарочно. Крякнул Алпатов, чтобы почувствовать себя, а в это время капитан Гугнивый, лучший из ротных командиров, объяснял генералу, что в чем-то он не виноват, и Алпатов, хоть и не слышал ясно, но всем нутром своим знал, что прав Гугнивый.

— Капитан, положите перста на уста,—брезгливо сказал ему генерал и двинулся дальше.

Поймав на себе недоуменный и близкий такой взгляд Гугнивого, снова крякнул и сказал Алпатов:

— Лучшая рота в полку, ваше превосходительство.

Повернул к нему высокую черепашью голову генерал, скользнул глазами по его кокарде...

— Лучшей она будет там,—в царствии небесном (кивнул на небо),—а здесь она никуда не годится.

И опять ровный шаг вперед.

Провалилась словесность, провалились приемы; рядовой Суходрев, старый солдат с начищенной медяшкой за стрельбу на прикладке почему-то явно свалил винтовку.

— Вы—из рук вон плохой ротный командир!— брезгливо и отчетливо сказал генерал капитану Гугнивому, и немолодое корявое угловатое лицо капитана стало вдруг мальчишески-сконфуженным, жалким.

А по Цимбалистову, по его косому, мягкому, точно тряпками набитому животу, по огромной сивой бороде и черным очкам провел чуть насмешливым взглядом и спросил:

— До предельного возраста вам сколько еще, капитан?—и смешавшись и покраснев, не сразу ответил Цимбалистов:

— Ваше превосходитс... два года семь месяцев.

— Покажите шашку.

И Цимбалистов смешался и покраснел еще сильнее: нарочно для смотра взял он новую златоустовскую шашку, но забыл ее отпустить.

Генерал посмотрел упорно долго на капитана и обидно ничего не сказал, только, отойдя от него шага на два, обернулся к нему и спросил вбок:

— А ваши очки были объявлены в приказе?

И нарочно не слушая, что ответит Цимбалистов, ткнул глазами в глаза курносого взводного:

— Первому взводу надеть шинеля в накидку.

Нашел на шинелях не те клейма: не того срока, не там поставлены.

Третий взвод оглядел весь сразу, поморщился, почесал переносье,—спросил:

— Отчего это у них такие тупые морды?

— Ваше превосходитс... большей частью башкиры, — ответил Цимбалистов: — Кроме того, — мордва.

Отвернулся генерал, не хотел смотреть; двинулся дальше.

А когда дошел он до левого фланга роты,— столкнулся с Мишкой.

Никто потом не мог ясно представить и объяснить, как именно и зачем попал на смотр медвежонок: вышел ли он на плац вместе с солдатами, или, оставленный в лагере, заскучал и пробрался в ряды, хитро крадучись уже в то время, когда начался смотр, только стоял он на задних лапах, приземистый, бурый, по форме теснясь к локтю маленького мордвина Коноплева,—правой лапой отдавал честь, левую сложил по-нищенски калачиком и ожидающе, преданно даже скосил глаза на генерала.

Остановился генерал, поднял голову, брови... Удивленно спросил своего адъютанта:

— Что это?

— Медвежонок,—улыбнулся адъютант молодо.

— Во-от!.. А?.. На смотру?.. Строевая часть? Убра-ать!

Крикнул вдруг голосом неожиданно высоким и пискливым, и первое, что подумал Алпатов, было: „Кричишь?.. Вот ты как кричишь?“ И мелькнуло даже как-будто благодарное чувство к Мишке, что вот до него не кричал генерал, а теперь показал голос,—кричит просто и понятно, как все. Но, выйдя вперед и вспотевши сразу, и зубами стукнув, Алпатов толкнул Мишку в грудь кулаком.

Растерянно прижав уши, подался Мишка, упал на четвереньки, фыркнул, мотнул головою, но никуда не ушел, — припал, как собака, к земле,— остался.

Побелел генерал.

— Убра-ать!—еще визгливее крикнул и руку поднял.

Плотный фельдфебель шестой роты подскочил, как нянька, обхватил медвежонка за шею, потащил,—но Мишук упирался, косился назад, ворчал горлом. Еще несколько человек,—и поручик Кривых, и Коноплев,—кинулись помогать фельдфебелю, а в середине расстроенной роты стоял высокий генерал, рассерженно чмыхал, пожимал плечами, качал головой и, как рыба, то открывал, то закрывал рот.

— Я вас спрашиваю, полковник,—что это?

— Ручной,—виновато улыбнулся было Алпатов.

— Да, да, да... ручной!.. На смотру?

— Недоглядели, ваше превосходительство... Привык очень к людям.

— Бе-зо-бразие!.. — Посмотрел на красивого адъютанта, точно ему жалуясь на Алпатова, передернул челюстью, точно зубы у него были вставные, и опять повторил:

— Безобразие... А?

Адъютант сочувственно кашлянул.

Отвели Мишку подальше от рот, в закоулок, к трем, соснам у передней линейки,—(и все время стоял генерал и следил, как его вели),—приставили к нему двух конвойных, но только отошли,—кособоким резвым чортом бросился опять в строй медвежонок, и бежали за ним испуганные конвойные, штыки на перевес.

В это время—(захолодало вдруг)—дождь начал падать неожиданно большими звучными каплями, замигала белая сетка перед глазами, и в этой сетке

по новому для Алпатова замелькал бегущий медвежонок, как-будто не он, как-будто не сюда совсем, а к городу, и вдруг, вот он, здесь, опять здесь, и подбежав, стал на задние лапы, а передними, как прежде, как всегда, отдавая честь правой,—левой просил подачки у сердитого генерала,—смотрел на него в упор, капризно шевелил пятачком и как-будто вызывающе даже ждал, когда же, наконец, даст он ему—сахара, булки, круглую медяшку, которую солдаты в кухнях честно обменивают на морковь и капусту.

— Ка-ак?—отступил на шаг генерал; лицо, мокрое от дождя, заструилось острое, желтое.—Полковник! Нет, что же это?.. Это—не полк! Это—зверинец! Это... чорт знает,—зверинец!..

Похолодевший Алпатов бросился на своего Мишку, растопырив ладони, хотел схватить сгоряча за горло, как Силин Пармен, и не успел. Медвежонок как-будто понял уже, что сердитый генерал—его враг: шерсть на холке поднялась дыбом, глазки стали острей, зеленей и злее, и той самой правой лапой, которой только что отдавал честь, Мишук рванул генерала за рукав шинели,—так и разодрал от локтя до обшлага жалкими полосками прочный франтовский драп...

Валил дождь, заливал морду звереныша и лицо генерала, остервенело бил кулаком медвежонка Алпатов, генерал сипло кричал: „Застрелить! Убить!.. Расстрелять!..“ Выхватил шашку—золотое оружие за храбрость,—взмахнул над головой, и видно было, как рука дрожала. Оглядевшись быстро, красивый адъютант выстрелил из нагана в присевшего на землю звереныша сверху вниз между лопаток, в упор.

Поднял Мишка изумленную лобатую голову, всю зеленую от расширенных болью глаз, заревел протяжно, тяжело кинулся было к левому флангу роты,

но Коноплев, его дядька, с размаху ударил его прикладом в затылок, и, ошарашенно завертев головою, он медленно опрокинулся на спину, сразу окровавив под собою глинистую грязь, и чей-то яркий белый и жесткий штык вонзился ему сбоку между ребер и неловко пришил к земле. Столпившись,—трудолюбиво, яро добивали, своего медвежонка подкованными каблуками, прикладами, кололи штыками,—и все молчали при этом,—кричал только один генерал. Нагнувши к Алпатову голову, длинноносый, мокрый растерзанный, нелепый, кричал он:

— Под суд!.. Я вас—под суд!.. За растраты, за упущения, за... за... за... безобразие—под суд!

— Ваше превосходительство,—пытался вставить Алпатов.

— Такого командира полка немыслимо терпеть в бригаде! Нет! Слышите?—Нет! Под суд!

И тут же с плаца уехал на станцию,—даже церемониальным маршем не пропустил полка.

Обмякший видел Алпатов, как отъезжали его (не его) вороные, разбрасывая грязь, как жирно лоснился поднятый верх его (не его) экипажа, и Флегонт в безрукавке и шапке с павлиньими перьями, несмело прикрытый клеенчатым плащом, неуклюже откачнувшись, торчал на козлах.

Генерала не было видно,—но он был: отплывало злое, чтобы вырасти и притти снова, и остановить его было нельзя.

С фуражки за шею холодная, гнусная текла вода; солдаты и офицеры все были мутные, мокрые, лишние; ненужные желтели медные трубы музыкантов.

— По палат-ка-ам!—во всю силу легких крикнул Алпатов и добавил кругло и сочно:—К чортовой матери, скоты!

Покосился на убитого медвежонка, похожего теперь на жалкую, втоптанную в грязь, дохлую ша-

лую бурую собаку, махнул рукой; капитану Цимбалистову хотел было сказать густое слово, но только посмотрел на него долго и хмуро, и тоже махнул рукой, и один, откланявшись офицерам, пошел к городу, по привычке прочно ставя ноги. Шел и смотрел в землю.

А дома, где была тревожная Руфина Петровна, и нянька Пелагея, и дети, и Мэри, и Джек, и в столовой лампа с хрустальными висюльками, и в кабинете шкаф с медным зеленым шлемом и зубами местного мамонта, в сумерки, когда застучали, открываясь ворота, и Флегонт приехал со станции, с Алпатовым случился удар: отняло всю правую половину тела. Лежал он красный, тяжелый, силился говорить, но говорил бессвязно, и почему-то по-легкому, по-мужичьи: кумпол, Капказ, обнаковенно... Думали, что выходится, отпустит, но к ночи удар повторился, и уж ничего не мог выговорить Алпатов, мычал, как зверь, и на заплаканную Руфину Петровну и детей глядел непонимающими глазами.

От нового удара утром Алпатов покорно умер.

Хоронили его в Аинске, и в то время, как писались об его полке куда-то выше злые бумаги, сам он медленно плыл на кладбище. Добросовестно начищенные к смотру медные трубы пригодились для похоронного марша, и медленно шел за оркестром зверинец-полк. День был теплый. Пахло весенними кедрами, листьями берез и той безымянной травкой, которая ползуче стелется везде, и без которой не мог представить себе земли Алпатов.

А в августе, когда полком командовал уже другой полковник, маленький, щупленький, по фамилии Курч, и Руфина Петровна носила на могилу георгины и ждала пенсии, и Бузун, переведенный „для

пользы службы", вышел уже в отставку, и желтели березы, и стаились птицы,—из глухой тайги, с поселка Княжое, опять приехал на базар в Аинск чалдон Андрей Силин, по прозвищу—Деримедведь. Привез на продажу мешок чесноку, горку крупной репы, клетку уток и клетку поздних цыплят, и, вдобавок ко всему этому... малого сосунка медвежонка.

Ноябрь 1911 г.

Неторопливое солнце

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

И здесь, где плескалось море внизу, а вверху сзади стояли горы, где кипарисы купались в голубом зное, и розовые тропинки вились по сожженным соломенно-желтым скатам,—и здесь, как везде в России, каменщики пили больше, чем плотники, кузнецы больше, чем каменщики, слесаря больше, чем кузнецы, больше же всех пили печники и штукатуры.

Бог знает,—может-быть, в извести и глине, в белой и желтой земле, заложено какое-нибудь неизвестное пьяное бродило, и от одного вида их неудержимо тянет простого, близкого земле человека к вину,—только найти трезвого печника было невозможно.

Шесть раз ходил в городок с дачи Пикулина дворник Назар,—нужно было поправить плиту на кухне,—печники пили. И, когда попался, наконец, рано утром хромой Федор, неизвестно где и как проведший ночь, но теперь почти свежий и способный к работе,—Назар неотступно стоял перед ним, пока не убедил пойти на дачу.

— Да ведь в гору!—думал увильнуть Федор.

— Ну, что ж? Далеко? Ах, ты ж, господи!.. Я, когда работал,—обыденкой за десять верст ходил.

— Нога у меня!.. Видишь,—нога хромая.

— Ну, что ж, нога! Я раз ногу-то в кровь растер, а за сколько верст ходил! Не пойдешь,—не поешь... Вон сторожка в лесу,—видишь? Семнадцать верст ходу, а по черной работе и там бывал.

— Бывал—бывал... Везде он бывал... А я и в Ерусалиме бывал, пуп земли видал, и прикладывался.

Федор—бородатый, рыжий: нос огромный, вверху костяной, внизу—сизый; глаза—серые щелки; картуз в нахлобучку, без полей, задрыпанный, вытертый; волосы старые, дьячковские; фартук—из грязи, сала, холстины, глины, извести и смолы; штаны—сорока цветов. Говорит басом: шея с огромным кадыком,—должно быть, смолоду хорошо пел и теперь поет, когда сильно пьян. Голову любит подбрасывать бодро, и, когда говорит, то сразу всем телом: и глазами, и шеей, и длинным носом, и бородою, и даже хромой ногой. А Назар—молодой еще, но какой-то весь свалявшийся, залежалый, как сухой веник: хочется подержать его в кипятке, распарить. Скулы у него торчат, усы белесые, еле видные, бороды нет,—не растет; бровями все время озабоченно думает.

Городок весь каменный и черепичный,—совсем маленький: одна церковь, две мечети. На раскаленной набережной, забранной от моря бетонной стеной, сгрудились мелкие лавчонки.

— Хочешь воды зельтельской?—спрашивает сурово Федор Назара.—Ежели хочешь,—на, пей.—И сам цедит в стакан из сифона и бросает на прилавок две копейки. Старый лавочник Мустафа сидит, смотрит, курит трубку: зачем подыматься ему, когда и без него все найдут! Самое трудное у него—отрезать халвы, сколько надо; но многие и это делают хорошо.

Медленно проходит мимо страшно тучная дама, вся в белом и под белым зонтиком с кружевом. От зонтика на серой мостовой синеватая тень с маленьким золотым зайчиком в середине: должно быть зонтик дырявый. Остановился чей-то сильный рыжий сеттер над самой бетонной стеной,

четко врезался в синеву моря и задумчиво смотрит, а в море белые чайки, точно их припаяло к воде, качаются вместе с рябью, а дальше—идут—не идут возле самого горизонта два, три, четыре баркаса-парусника и совсем выпадает,—еле держит глаз,—пароход.

На перевал к даче итти тяжело. Тропинка взбирается на него хитрыми изворотами по сыпучему шиферу, и снизу вид у нее, как у балованной гончей на охоте.

— Как это—не понимаю я этих людей!—ворчит Федор.—Что теперь, зима? Непременно тебе плиту? На дворе готовить не можешь? Эх, народ нежный!

И несколько раз садится он отдыхать и потирает с большой любовью отвердевшее колено.

— Ведь, это я ее как?—говорит Назару.—Я ее простым манером сломал: с лестницы спускался,—вот от базара сейчас к речке лестница вниз,—был немного тово, а дожжик шел, и ступеньки... оне, стало-быть, камень,—склизкие,—упал, и, значит, самый хрящик в коленке хрясь,—пополам!.. Сказал доктор в нашей больнице—серебряными нитками сшивать. Ну, таким манером тут они только не могут, а надо в настоящую ехать, в губернскую, — там зашьют. Там бы зашили, а? Там бы это — пус-стяк! А только туда ехать, — мелочи нет.

— Пьянство нашего брата губит. Это все равно —чистый яд.

— Говорю тебе: лестница каменная, склизкая и дожжик шел... Пьянство! Что ж, я до этого так никогда и не пил? Обдумай умом.

На перевале, откуда до дачи Пикулина двести-триста шагов, Назар вспоминает вдруг, что ведет Федора так, как поймал на улице,—с голыми руками. Хорошо, конечно, и так, но лучше бы с печным снарядом.

Назар серчает.

— У тебя голова есть?.. Есть или нет ее вовсе, головы?

— Есть. У меня все есть. Я вот только на ногу спорчен, а то я, брат, еще иному старику та-ак могу показать...

— А понятия в тебе нет, в голове!.. Что ж ты пошел, а струменту не взял?

— А у нас какой струмент? Молоток, гельм да сокол—и весь струмент. Милой! Долго его взять, —скажи, ежель очень умный? Сходить только надо, —ну, конечно, мне от моей хромоты...

— Сх-одить! Ты когда пришел,—сиди. Он, струмент, у тебя где? На квартере?

— Зачем? На квартере—там ничего нет. Где работал, стало-быть, там. Вот у Николая Иваныча беседки белил...

— Ты уж сиди, ты скажи только, где,—схожу сам. Эх, народ!

— Куда ж ты сходишь, когда его найти надо, что к чему? Он, ведь, у меня не в одном месте, инструмент.

— Шут хромой! У Николая Иваныча—сказал?

— Там я, действительно, беседки белил,—там, значит, кисть с ведеркой,—гельма нет. А гельм, это лопаточка наша называемая,—гельм с соколом —почитай, что он у Курт-Али в саду. Сокол, он, положим, без надобности, только полутерок взять, да вот еще грохот, глину сеять.

— Значит, его у Курт-Али взять?

— У Курт-Али зачем? Там грохота нет. Грохот, он... кажись, я его у докторши оставил... Вот у этой,—как ее, чорт?.. Зубная она, в очках ходит... Вот она еще около этого... грек такой черный,— печку я там поправлял... Да сбоку на базаре, как снизка от аптеки итить,—третья лавка... Третья или она—четвертая...

— Что это ты совсем в родé полоумного стал, —как бочка сухая, а?

— Совсем, как бочка. Верно.

— Весь рассыпался, клепок не соберешь... Голова-то у тебя есть?

— Голова есть.

Когда уходит Назар в городок за печным инструментом, Федор выразительно подмигивает ему и щелкает себя пальцем пониже скулы.

Спереди горы лиловые, сзади, за перевалом,— зеленые, буковый лес. В этом лесу видны просеки, отдельные буки, дымок костра,—так это все близко, мягко и кудряво, а горы спереди сами как длинный дым, уходящий в море клубами. Внизу городок. Отсюда, сверху, Федор отличает ясно: рыбацкий ресторан Николая Иваныча около моста, ветлы над речкой, каменные ряды на базаре, и сад Курт-Али, и купальни. Городок густо облепил бугор, и на самой вышке бугра встала старинная генуэзская башня, серая, круглая с обвалившимся краем. Все это, если сощурить глаза, похоже отсюда на большой пестрый волчок с очень удобной ручкой. А дальше от города по речной долине легли темные виноградники и сады, расчерченные дорогами, плетнями, высокими тополями с сухими верхушками, иссиня-черными столетними кипарисами, сараями.

От подъема в гору Федор устал. Картуза он не снимает,—так привык к нему, точно это волосы, и спит в картузе,—но хорошо, что потное под мокрой рубашкой, ноющее тело щекочет низовой ветер.

Вон мелькнул синей рубахой на изгибе тропинки внизу Назар, а скоро опять мелькает: входит в улицу, явно спеша.—„Колготной"!—говорит о нем

вслух Федор, крутя головою и губы вытягивает трубой. Сбоку дача Пикулина; видно около кухни длинную бабу с ребенком на руках, но туда не хочет итти Федор. Кругом дачи—татарская земля, по ней бродят тонкомордые коровы; трава давно высохла,—обгрызают кусты, влажно сопят, тяжко дышат большими животами. Появляется вдруг осторожный, как мышонок, белый маленький мальчишка, смотрит из-за куста синим глазом, потом вдруг молча со всех ног отбегает прочь; с ним корноухий серый щенок: остановился, тявкнул, покатился пухлым шариком, наткнулся на кочку, перекинулся на спину, остановился, тявкнул, покатился опять.

На самой ближней из лиловых гор, если присмотреться пристальней, можно различить красноватые огромные щербатые скалы с синими тенями; внизу под ними каменный обвал, когда-то засыпавший татарскую деревню. Теперь эта деревня правее, ближе к морю, а ниже ее вся гора разрисована, точно нарочно, шершаво обведенными пятнами; больше желто-белесых,—это спелая пшеница; скоро начнут ее жать. А еще правее, еще ближе к морю, в сине-розовом мреют белые точки: это тоже деревня—Куру-Узень. Но от солнца сплошного все струится и движется и тает. Посвистывают иванчики на кустах, а слева слышно, как стучат тяжелые арбы на белом шоссе.

И можно сидеть здесь долго, очень долго и ни о чем не думать: можно просто смотреть, слушать, курить крепкую махорку, кашлять, и опять слушать и опять смотреть.

Когда приносит, наконец, сердитый Назар гельм и грохот и кисть с белым ведерком,—солнце стоит уже высоко: десятый час.

Такое славное море, голубое, с нежными жилками. Горы веселые. Дует несильный упругий ветер с гор: хорошо, не жарко.

Зиновья, лобастая длинная желтая синеглазая баба, Назарова жена, качает на руках сынишку Ванятку и вспоминает вдруг:

— Зайчонок вчера вот это место сидел,—серенькой, цыбулястый,—до чего чудной!.. Я это из дверей вышла,—он как уши торчмя, как стрякнет! В балку кубарем... и-и чудной!

И тут же кстати вспоминает еще о деревенском зайчонке, прежнем, своем, орловском:

— Я раз овес вязала,—зайчонка нашла,—молоденький, прямо мягкий, как мыша! Вот право, ей-богу, испугалась как!.. Так и закатала его в сноп, а он спал, должно, не слыхал. Связали мы ему, бабы, ноги задние горохом, плетью, чтоб не убег, а он ишь убег: перегрыз зубами завязку эту нашу да убег. Вот тоже чудной какой был, ногастый, да серый!..

Говорит радостно, спеша, точно давно ждала этого случая, и Федор отлично понимает, как ей надо ответить:

— Вот и видно сразу, что бабы: нашли чем зайца связать,—заячьим кушаньем... Народ вострый!

В стороне от дачи за колючей проволокой ограды на татарской общественной земле, где растет мелкий карагач, ежегодно объедаемый скотом, два турка в ярких фесках распялили силок и ловят на жука-скрипача сорокопута. Бог знает, зачем им сорокопут. От невысоких мимоз около дачи легли талые перистые кружевные тени. Мимозы цветут теперь розовым пухом и сладко пахнут. Сухой Назар окапывает их киркой и штыковой лопатой, хекает и сопит. Может-быть, нужно окапывать их, может-быть, нет, но скуластое белобрысое лицо его в крупном поту. Сквозь жадные до простора

длинные ветки мимоз море кажется невиданно голубым. Благолепие и радость. Что же это топчет ожесточенно ногой и лопатой Назар?

— Страсть не люблю их вредных: широконожка!—говорит он Федору. А Федор тут же,—протирает сыроватую глину через грохот.

— За что ты ее? Не нравится тебе костюм ихний.

— Страсть не люблю!

— Гм... Так она, кажется, ничего себе... И ножки желтые.

— Вредная! Глянь-ка, вертится, как змей! А? Значит у ней какая-нибудь гадость на уме, а то зачем ей, как змею?.. Ишь, пополам посек, а она все свою злость точит... во-от!

И потом опять копает Назар, хекает и сопит. Кажется, что ему просто хочется выкопать еще сороконожку и раздавить, а мимозы окапывать не нужно. И, когда пропотеет все лицо его насквозь, он, наклоняясь, вытирает его рукавом синей рубахи в сгибе левого локтя, где она чище, и потом копает опять.

Заиграла шарманка внизу у моря, где дачи гуще. Эти дачи внизу выбиваются наружу из тупой смоляной зелени то куском белой стены с двумятремя окнами и балконом, то красным, то серым пятном крыши, и вместе с запахом нижней зелени, расплавляясь в солнечном воздухе, доплывают сюда звуки шарманки. Здесь они не режут уха, здесь они согласованы с небом, морем, цикадами. Но Зиновье хочется, чтобы трещало, звенело, рыдало около нее. У нее такие стремящиеся вниз текучие жадные глаза, когда поспешно идет она к проволоке своей ограды с пушистым, как утенок, Ваняткой на руках.

— Ах, до крайности хорошо как играет!.. Кабы не Ванятка, да не обед готовить,—побежала б я туда сломя голову!

И еще делает два-три порывистых шага, различает еще и гулкий бубен.

— А в бубен как!.. Ишь!.. Ишь ты!.. Ишь!..

Может-быть, хочется ей повертеться под музыку, пощелкать пальцами, похлопать в ладоши, положить кому-то новому голову на плечо,—мечтательна молодая женская душа. Стоит Зиновья, худая, длинная, восхищенная, смотрит назад на сухого Назара, смотрит вперед, на нижние дачи, где шарманка, прижимает крепко Ванятку,—и на глазах у нее почему-то слезы.

И, когда откуда-то из божьего мира вокруг прибегает шестилетний Фанаска, старший Назаров сын, за куском черного хлеба, чтобы опять поспешно уйти и раствориться в божьем мире,—Назар встречает его:

— Ты что же это, бегоулец,—все бы тебе шататься безпутя? Нет дома посидеть?.. А за ухи хочешь?

„Бегоулец“—белоголовый, волосы на затылке торчком, от солнца выцвели, нос облупился, глаза, как у матери, голубые, глядят исподлобья.

— Муравья видишь? Он тебе со всего берет взятку: хоть ему цветок, хоть труп палый... Вот у него учись, у муравья.

Фанаска слушает и молчит. На муравьев он смотрит, и даже один залез на его босую и крепкую, красную, как сосновый сучок, ногу; Фанаска стряхнул его другой ногой, почесался, оглянулся, тоскливо погрыз кулак,—видно, что ему очень скучно.

— Ты как это трудиться не хочешь?—не отстает Назар.—Ты у меня трудись, смотри, а то на декох посажу.

С весны начал было Назар учить Фанаску буквам, но Фанаска все удивлялся,—почему „а“, почему „бе“... „Бе“,—повторял он вслед за отцом:—гы-гы... „бе!“ Потом азбука приводила его в непо-

бедимый ужас, и только брался за нее Назар, Фанаска стремительно бросался вон из кухни, забивался в гущину виноградника, пропадал. Пришлось отложить до зимы,—но пока должен он был полоть траву цапкой, ходить за водой в бассейн, обирать гусениц с маленьких яблонь-карликов, и много еще. А кругом в божьем мире было столько удивительных вещей. Захотел итти направо,—ступай направо, захотел итти налево,—иди налево: везде хлопочут жуки, рыщут ящерицы, подлетывают с треском кузнечики с красными крыльями; Фанаска ловит их, держит за голову, говорит нараспев:

Кузнец-кузнец, дай деготьку,
А то гол'ву оторву!

И кузнец боится и дает. Или снимает зеленого червяка с листа и внушает:

Червяк-червяк, дай п'утину,
Червяк-червяк, дай п'утину...

И червяк дает паутину. Так все кругом понимает Фанаску и живет с ним в ладу.

На одном кусту боярышника,—каждый день приходит смотреть Фанаска,—„зябриково" гнездо: четыре зеленых яичка; а то есть такая балка,—в ней „дохлая барашковая голова с рогами"... Иногда он говорит об этом шопотом матери, чтоб и она знала.

От кухни недалеко разбросался мелкий дубнячок. Корни у него тысячелетние, и все время, год за годом упорно выбегает из них толпа сочнейших веток с крупными листьями, твердыми и блестящими, точно из лакированной зеленой кожи.

Назар смотрит упорно на этот дубнячок и говорит строго Фанаске:

— Сейчас принеси топор поди: повырубать надо. И всегда кроме этого, от этих кустов—вша.

Новые дома среди старых мшистых деревьев или среди серых, потресканных скал—до чего они нестерпимы для глаз, и как хороши в такой обстановке дома, над которыми не спеша поработало солнце: стерло лоск штукатурки, отодрало масляную краску с дерева балконов, с железа водосточных труб, приобщило к природному, своему, обняло по-родному, усыновило.

Дача Пикулина новая,—только весной закончили,—так и блестит вся свежими красками. Дачников здесь нет: далеко от города, высоко, трудно подниматься. Хозяина тоже нет пока,—приедет осенью; один Назар.

Но солнце, вечный хозяин земли, знает на земле каждую пядь, и осенью придется Назару объяснять Пикулину, отчего это по крыше поперек прошли частые белые полосы.

— Это от застоя, ваше превосходительство,—скажет Назар, подобострастно шевеля бровями;—застой росы такой: ночью краску выест, а днем еще хужей: жара. Кроме этого—соль морская.

— Со-оль?

— Так точно,—соль вредная. Уж крышу здесь неминуючи через год опять красить.

И Пикулин, старик-исправник, коллежский советник, горбоносый, с висячими красными бритыми щеками, покачает головою и скажет сочно:

— Р-рас-ход!

Разметал Федор весь плохо слепленный дымоход плиты, наворочал на полу груду закопченных кирпичей, пропитал всю кухню гарью и сажей, набил себе в бороду черных хлопьев, накурил крепчайшей махоркой, возился над глиной, весь дымный, занял собой всю кухню, выгнал Зиновью с Ваняткой на солнце к порогу...

Горел возле самого порога маленький, шипучий, мокрый на вид огонек; кипятилась вода в котелке; ползал пушистый Ванятка; чистила Зиновья мелкую рыбу, слушала Федора.

А Федор говорит все время, не уставая, обо всем, о чем угодно. Увидит Пукета, Фанаскина щенка из татарских овчарок, у которого Назар для злости обрезал уши,—говорит о собаках:

— Уж ежель держать собаку, так держать собаку, чтоб была она собакой, а не так... Чтоб она днем—на цепе, ночью—чтоб она спущена, и к дому своему чтоб а ни-ни, ни, боже мой, никого, чтоб духу-звания близко не допускать... У нас, когда я еще маленький,—две собаки на дворе было: одна... да нет, обе они здоровущие,—вот такие телята. Ну, одна только глупая,—вот как человек глупый все мелет, все мелет,—и эта своим чередом—все лает, все лает,—и внимания на нее никто не обращает: все бесперечь брешет... А другой зато был,—он молчок, о-он лежит себе, брат, посмотрит глазом, одним ухом прослушает,—опять будто его в сон клонит, а ворота у нас далеко от дома, шагов двести, а то и больше,—хрясть там кто-нибудь ночью,—он рот разинет: ам!!—ну, тут уж вставай, раз его голос услыхали,—живым духом вставай, иди: он попустому молоть не будет.

Увидит ли, села на окно синица и тут же с испуганным свистом дала стречка, заговорит о синице, мимоходом передразнив татар:

— „Э-е, знако́м, большой птица, нехороший, оно—вор, называемый синиц,—говядину клевал, порвал,—э-э, вор!..“ И не думай, что шутки. У меня дядя по свиной части, свиней скупали на туши. И вот, ведь, туши свиные, скажем,—у нас их как освежуют, опалят, оскоблют,—в холке разрез такой резрезают,—сколь жирна, показать, стало-быть, какой толщины сало,—и в клеть на крюк... И вот ты

от соседа не стереги, от соседской собаки не стереги, а за синицей смотри, да смотри. Она, синица, невеликая вещь, а на холку сядет, как начнет раскомаривать,— как крыса оборвет!.. Большую шкоду делает. Продавать потом тушу повези,—срам! Всякому в глаза кидается: каким манером это могло? Или это зверь или это пес?.. А этому зверю всей долины—без четверти вершок... „Такой большой птица—вор!..“

И тут же вспоминает кстати Федор:

— Я ведь и сам резник был, да еще какой я резник был знаменитый,—по восемнадцать овец в день разделывал!.. Была у меня такая сила, что в селе нашем,—не шути селом нашим: две церкви,— ну, известно уж, у нас кулачки,—на какую я стену встал, та и гонит... У меня рука очень жесткая,— попробуй, возьми своей рукой... Мне ежель скотина девять-десять пудов,—никаких мне помощников не надо: за рога, на колени, р-раз ее в горловой позвонок, и без последствий... Свинья ежель пудов четырех,—тоже я все один.

Увидит мелкую рыбешку в руках у Зиновьи,— говорит о рыбе:

— Какая здесь на рыбу дороговизть: лобан свежий,—татарчата носят,—вынь-положь восемь гривен за штуку, а в этой штуке весу—только кота накормить... В Петровском, на Кавказе, я на службе служил,—вот где рыба нипочем: сорок копеек пуд,—сазан, щука, какую хочешь!.. Куда вместо мяса нам это заменяло, да без мослов, почитай, выходит вес чистый. Так у нас за великий пост экономии столько загнали,—цельную пасху пьянством занимались.

На море видно, как турки,—большая артель, человек тридцать,—близко от берега укрепив в воде столбы, растянули прямоугольником огромную красную сеть на кефаль; на столбах устроили сторожевые вышки, сидят на них по-двое, по-трое,—

следят за стаями. На берегу у них дюжина лодок косые палатки, какой-то скарб... А ближе к городу—цветные кабинки на синеватом пляже, и купальщики, и столько лениво лежащих на песке, и кто-то катается на двух яликах в перегонку,—все прозрачное, легкое, голубое... Но каждый день это, к этому привыкла Зиновья, а Федор говорит о своем:

— Я Моршанского уезду... Город Моршанский знаешь? Не знаешь, а у нас там собор знаменитый. Собор у нас там,—вы-со-та!.. Его, ведь, выше Ивана Великого купцы наши умудрили возвесть:—туды-сюды,—хвать, запрещение: выше Ивана Великого не смей!.. Так его и сгадили весь план: купол обкорнали весь, и венциальные окна—ни к чему по четыре с половиной аршина, а их по двенадцати надо было аршинов: четыре сажня, ты-то пойми!.. У нас дьякон там был Краснопевцев,—как хватит „Многая лета", так и стекла вон. Ну, конечно, во всю силу голоса ему воспрещали... Из себя страсть какой видный, грива—во-о!.. И, бывалыча, всегда он пьян:—купечество,—всякому лестно, как такого дьякона не угостить?.. Побыл у нас год, а его к архиерею, побыл у архиерея год, а его в святейший синод требуют... Теперь, небось, такой шишкой стал,—сзаду богу намолишься.

Рассказал о дьяконе,—пошли монахи, потом какой-то помещик Можаров, потом казачьи лошади...

И к тому времени, как подошел потный Назар к кухне, Федор сидел уже на пороге, рядом с Зиновьей, Ваняткой и огоньком, и говорил мирно о кладах:

— Чабан один барашку пас... На дудочке себе играет на кургане,—это под самой Керчью, Золотая гора называется; сидит,—и сидеть ему очень удобно на плите на такой,—каменная плита, глад-

кая; сидит раз, а тут, значит, дождем ее подмыло, не очень уж она плотно к земле припавши; буултых он с ней в яму,—скрозь земь провалился, пропал. Ищут-поищут хозяевы чабана:—барашка есть, а чабан пропал. Что за оказия,—чабана нет? Барашка—вся чисто целая, а его и духу-звания нет. Вот другого наняли. А барашка,—где ее стан, она привычная, прет средь дня на Золотую гору, одна к одной головами, в круг, как ей обыкновение... Только этот новый подходит,—голос человечий. Откуда это из ямы голос человечий подается?—Ты кто там?—Чабан.—Как туда попал?—То—се. Бежит новый к своим хозяевам грекам: вон где он проявился,—сквозь землю провалился, шабаш! Те, греки, народ хитрый,—веревки, лопаты, да туда. Оказалась пещера, в пещере—два гроба, а возле—колодец, цыбарка на цепе, а дальше, спустя место, ворота... Со скольких это годов,—никто не знает. Ну, конечно, кувшины такие старинные, золото, серебро. Вот какие, значит, вещи подходящие,—это они, греки, себе обшарили все: пожалуйте теперь желающая полиция клад опечатывать... А греки в Керчи домов себе понакупили двухъэтажных.

— Да, говорится—двухъэтажный, а заместо того—бумажный,—вставляет Назар.

— Ты вот говоришь, а теперь по Митридат-горе ребята татарские ходят, землю мелкую собирают, просевают: монетки находят золотые. А то есть такие турки,—чем занимаются, никому это неизвестно, а небось, богато живут:—со щупами ходят. Как день, они щупы в руки,—палки такие вострые,—и идут, по горе блудят, так будто прогулка это у них, а сами хитро землю щупают: может, где подастся поглубже. Подалась,—вот и готово дело: заметку поставят, ночью кирки на плечи, гайда на это место... Мало находят, что ли? А не

хочешь,—тетка у моей жены в Керчи погреб себе копала,—две генуецких вазы нашла: одна ваза золотая,—полнехонька с золотом, другая серебряная,—с серебром полна. Не скажу, что она раньше того бедная была: по двадцати тысячев на трех сыновей положила, а как эти вазы еще,—так она на дочь—со-рок тысячев!.. Жена моя службу у ней имела,—горничной, а когда вместо кухарки. Она ей: „Вот дом приставский (взял под залог три тысячи, а отдавать—наворовать не поспел), вот этот дом (а при доме сад хороший, четь десятины!)—вам с мужем, корову куплю вам,—живите". А она, стерва... в нашем быту гнуться надо, а у ней с теткой недостаток разговору вышел, из-за бабьих пустяков не помирились,—она от тетки по щеке получила, да сдачи ей. Та ее, конечно, за хвост на улицу... Вот почему у нас бедность.

— Да у тебя и жены-то нет, хромой,— что врешь все?

— Как нет? Здесь нет,—в Керчи есть. С другим печником живет,—вот уж, почитай, лет пятнадцать она с ним... Я в это дело не вникаю: хочет он с нею жить, значит, мог он с ней ладу добиться,—ну, и живи.

И подмигивает Федор одним глазом.

— Ты что это мне все про клады?—сурово спрашивает Назар.

— Что?.. Думаешь—не бывает?.. Э-э, брат!

— Ты за кладом хочешь? Поспешай-поспешай,— а то другой кто найдет... Поспешай.

Удивляется Федор:

— От моей хромоты мне теперь на Палац-гору? Эк ты, умен!.. Мое теперь дело пустынное, ровное... Раньше таким бы манером...

— Клад—вот он клад!—с азартом стучит себя пальцем по лбу Назар.—Ежли у кого шарик работает!.. Две руки тебе даны, вот это тебе кла-ад!..

Ты только на людей не тянись, не нагоняй лени,— вот тебе клад!.. Ах-х, народ!

Федор смотрит на него, не понимая, отчего он так осерчал. Когда люди серчают возле него, ему тоскливо, и кажется, что он голоден, и хочется выпить водки.

— Поднеси-ка мне рюмочку,—подмигивая, примирительно тихо говорит он Назару.—И ежели две, то еще того лучше... И, может, есть у тебя огурец малосольный закусить.

Стоят они друг против друга, один молодой, сухоскулый, весь подобранный, легкий, другой— носатый, колченогий, сильно обработанный долгими рядами лет; запах от него грязный и пьяный, руки у него дрожат; кладет кирпич „на кантик",—ложится „на плац".

Но Зиновья смотрит на Федора любовно, достает ему водку, рюмку, морщинистый огурец. Простые русские бабы любят угощать и потчевать, и в то время, как Назар отвернулся, глядит в окно на море, барабанит пальцами в подоконник,—Зиновья, синеглазая, улыбается Федору, грешному, пьяному. Простые русские бабы почему-то матерински любят неправильных мужиков.

Есть какая-то на земле своя солнечная правда,—человеку этого не дано знать,—человек только чувствует это смутно, когда вдруг возьмет да поверит сказке о том, например, что никогда не разлюбит, никогда не состарится, никогда не умрет. Сядьте здесь, на большой высоте над морем, избочите голову, как это делают птицы, тогда все вам покажется новым; забудьте, что влево верст за сто такой-то город, вправо верст за сто — такой-то: пусть будет только светлое, яркое море перед вами и вы, и на море вон один, вон другой, вон третий, точно в другом мире—так далеко, как лебеди белые,

белеют баркасы-парусники. Крикните им вдруг: „Эй, кораблики!..“ — Громче кричите: „Эй, кораблики! Вы куда это плывете, кораблики?“ Пусть они выплыли из какой-нибудь зачарованной страны, пусть плывут они в страны, совсем неслыханные, пусть паруса у них вечные, мачты вечные, матросы вечные... Пусть не будет, хотя бы для них одних так обидно мала земля... Эй, кораблики!

Для сна после обеда Федор не выбирал места: он лег позади кухни в тени так, как был, прямо на землю, только лицо обернул фартуком, чтобы не кусала муха.

И сразу мягка, и тепла, и родна ему стала земля.

А Назар внизу около дачи. Здесь все требует его глаза: и молодые павлонии, у которых от горной сухой земли и солнца каждый день колпачками беспомощно обвисают широкие клейкие листья: нужно их напоить, как усталых рабочих коняг; и виноград, у которого сочные доходные чубуки выгнало длиннее, чем в сажень: нужно сделать ему широким ножом вторую чеканку; кисти в наливе: нужно осыпать их вторично серой. И нужно выбелить густо известью толь на крыше беседки в нижнем саду и залепить трещины в цементных ступеньках лестницы, чтобы не расселись совсем.

— Положили прямо на глину бетон, ах, гады! — ковыряя ногтем трещину, говорил Зиновье Назар: — А для бетону глина — да это же чистый яд!

И Фанаску тут же держит Назар: то пошлет его за мочалой, то за секатором, — и, когда отрезает длинную ветку персика, начинающую подсыхать, Фанаска спрашивает удивленно: — На кой? — и осторожно подымает ветку.

Эти часы — третий, четвертый, пятый, — душны даже здесь в саду, на перевале. Густо пахнет вялым виноградным листом, около земли припеченным,

жёлтым; земля горячая, не устоишь босиком; цикады трещат лениво; высоко, где кажется еще жарче, вьются орлы; на поздние черешни садятся с довольными криками стаи молодых большеротых скворцов, и Зиновья бросает в них неловко, по-бабьи, комьями земли и кричит:—„Кши, окаянная сила!“ Скворцы улетают с ягодами в клювах, а потом хитро подбираются вновь. Длинный, толстый желтобрюх давно уже лежал на куче прошлогодних сухих чубуков и сладко грелся, но, заслышав близко Назара, зашуршал и пропал в дубняке. Земля,—и тут же над землею солнце: так оно низко и велико. Только успел Назар пройтись известью по черной смолистой толевой крыше, и уж она побелела,—повеселело в саду и кругом: белое издалека видно; в белом человека больше всего.

Утром солнце шире, к вечеру—уже. Брызнувшее по всему небу с утра,—к вечеру стекается оно в одно русло,—и вот ее уж почти определенно видно, солнечную реку: это бывает здесь в шестом часу, когда жестко звенят по-деловому ведра у большого бассейна. Колодца здесь нет, вода дождевая, с крыш. Назар, разнося ее по деревьям, по неровной покатой кочковато-вскопанной почве, упруго и устало ставит ноги. Много посадок около дачи, и вьются по резному балкону настурция и вьюнок: это час их рабочего водопоя; пахнет сырою землей и цветами.

Раза два хотел послать Назар Зиновью или Фанаску на кухню посмотреть, как работает печник, и все находилось для них другое дело.

Но, когда приходится пройти с ведрами мимо кухни—полить помидоры на грядках, Назар видит Федора: спит Федор.

Спросонья Федор ничего не может понять: где это он, как попал сюда, почему кричит на него этот скуластый малый?.. А спросонья он даже и на

Федора не совсем похож: картуз в обтяжку тот же, и длинный, сизый нос тот же, и та же борода—путаный лес, но как-будто ему лет на десять больше: что-то отняла у него на время земля.

— Ты ж явился сюда зачем?—возмущенно кричит Назар.—Спать? Ты спать?—и ныряет тонкою шеей, и нижет его злыми глазами, и водит перед его носом жилистой, узловатой, в подсученном рукаве рукой.

Федор смотрит долго на него, на белую стену кухни, на молодой миндальник, возле которого он спал, на желтое солнце, которое клонит к закату, зевает глубоко и мирно, скребет под картузом и тянется в карман за кисетом.

— Да-а... Это я поспал... Таким манером,—я ведь эту ночь допоздна кружил...—И улыбается, подмигивая красным глазом.

— Ты мне что это: кружил?!.. Это не касается! Как ты мне сказал,—сегодня кончишь, а заместо того только все развертел? Когда ж ты ее сегодня кончишь?

Федор свернул цыгарку, откусил лишнее зубами, зачерпнул табаку из кисета, и много старой медленной мудрости его в том, что говорит он Назару:

— Сегодня ее кончить или же завтра ее кончить—одна ведь, ей цена: плита. Придет время,—и кончу.

— Ты что же это за босяк за такой?—наседает Назар.—Как сам на себя не надеешься, ты бы мне сказал: разбуди... Босяк!

А Федор удивляется, еще не совсем очнувшись:

— Ну, и колготной ты мужик!.. Смотрю-смотрю на тебя,—страсть колготной!.. Ежели б я поденный, тогда ты полное право имеешь, конечно, надо мной свой сурьез показать, ну, однако, я сдельно взялся! Хочу работаю,—хочу я сплю: как мне хочется... Почему ж это ты такой колготной?

— Ты к делу приставлен, значит, нужно тебе свое дело исполнять! — кричит Назар. — Полну кухню каменю навалил и думать забыл? Пролетарист!

— Гм... Стало-быть, после всего этого должен я увойти,—говорил Федор.

Когда он начинает серчать, то употребляет иногда слова исковерканные, местные, считая, должно-быть, что сказать этак полезнее, чем просто. Он подымается, и это долго и трудно: он подбирает под себя здоровую правую ногу, рядом с ней прочно упирает правую руку, а левую относит подальше вперед, наклоняется в пояснице, чуть не касаясь земли бородой, чтобы упереться здоровым коленом,—и, когда встает, наконец, на обе ноги, то дрожит, весь красный, и трудно дышит.

— Ты сейчас же у меня иди и кончай!—кричит Назар.

— Нет, я увойду,—говорит Федор.

Фанаска прибегает снизу и широко смотрит, и корноухий Пукет, ничего не желая понимать, игриво старается укусить его за пятку. Подымается сюда и тонкая Зиновья, голова к голове с пухлым, белым Ваняткой, и от больших на худом лице синих глаз ее все кругло голубеет в глазах Федора, и непременно уж хочется быть удалым и щедрым.

— Увойду!—повторяет он.—Как ты тут так надо мной озоруешь,—эге-ге, брат, поищи других!

Он подбрасывает голову, одергивает фартук, выправляет рубаху и, волоча прямую ногу, бодро выходит на дорожку, посыпанную морским гравием.

— Как же ты это делать смеешь?—озадачен Назар.

— Так и смею.

— Ну, ты ж с меня денег своих...

— А подавись деньгами!—лихо вставляет Федор.

Если бы Зиновья подошла к нему ближе, что-нибудь сказала Назару, что-нибудь сказала ему, может-быть, он и остался бы и сложил бы боров, но Зиновья недоуменно глядит и молчит.

И идет Федор к Пикулинской калитке—пьяный и старый, сутулый и хромой, грешный и гордый.

Точно ломаются где-то страшно далеко тонкие-тонкие-тонкие льдинки: это солнце заходит за горы.

Солнце здесь подымается из-за моря, и потому очень рано,—ничто ему не мешает,—а заходит за ближние зеленые высокие горы, и еще нет и шести часов, а уж подходит солнечная река к буковой плотине. Горы ощетинились этими редкими буками, как кабаньи спины, и теперь каждый сук отчетливо черен, точно почернел от святого страха, переплескивает через плотину солнце, кажется, медленно гнет буки, тончит сучья, глотает листья,—сверга-ется куда-то вниз, не видно куда.

А по скатам, в неглубоких балках уже начинают мягко стелиться остроконечные, чуть розоватые, как розовая пыль, тени. Потом они расползутся по круглым дубовым кустам вблизи, по серым круглым, как притаившиеся ежи, шапкам перекати-поля, по растрепанным колючим молочаям. Тени эти сквозные, в них все задумается, станет свежее дышать.

Черные дрозды начали уж беспокойно искать веток сухих и высоких, откуда бы им все было видно. Это их час. Как только солнце переплескивает за горы, они кричат что-то, ужасно волнуясь,—что именно, неизвестно. Они косноязычно-оторванно чокают, изумленно-высоко всплескивают горлом,

начинают и не знают конца, кончают и забывают начало, и подпрыгивают выше и вздергивают хвостами. Но, может-быть, это были бы красивейшие песни солнцу, если бы не мешало волнение. Потом, когда исчезнет последний луч, и только странной формы облака подымутся над горами, огненные и золотые,—дрозды станут грустнее, тише; а когда и облака погаснут,—замолчат дрозды.

Начинают расходиться с перевала коровы, воровато обгрызая на ходу кусты. Теперь Федор видит, что они—стадо, что есть у них пастух, выдубленный солнцем татарчонок, и что это он гонит их в город, по дворам. Крепко пахнет от них вечерним парным молоком и хлевом.

Вспугнутая стадом, пролетает низко над землею из куста в куст головастая, косокрылая, слепая птица: это сплюшка. Стемнеет,—и начнет она ввертывать в ночь, как тугой буравчик, нестерпимо жалостное: сплю-ю... плю-ю... тлю-ю...

Городок—в огне. Теперь это совсем волчок, размалеванный так по-детски крикливо, что глаза колет, пять минут погорит,—погаснет.

По морю уж стрельнула вдоль дальнего берега золотистая стрелка,—вот-вот позолотеет сразу все море. Тогда оно станет трогательно-вдумчивым, усталым, осядет ниже. А потом и небо на горизонте станет тяжелее его: пепельное и лиловое,—а море выкатится из этого неба, как огромнейший круглый глаз, широко изумленный. Потом успокоится глаз, и придут часы долгой прохлады, тонкой темноты, воспоминаний, недомолвок, грусти и странных мечтаний, и сказок, и радостной, прочной, как земля, убежденности в том, что из-за моря подымется в свое время такое же спокойное солнце, и настанет завтра.

Федор идет вниз с перевала, осторожно выставляя хромую ногу, идет долго, иногда сердито

бормочет и трясет бородой. И, когда проходит уже половину спуска,—вспоминает, что оставил у Назара грохот, ведерко и кисть, а гельм захватил только потому, что нечаянно сунул его за фартук, когда ложился спать. Если бы оставил где-нибудь в городе,—к этому он привык, но итти сюда—далеко и трудно. Он ругается крепко-крепко, сопит, плюет наземь, потом машет рукой и медленно движется дальше: кому нужно будет,—тот сходит.

Ноябрь 1911 г.

Пристав Дерябин

ПРИСТАВ ДЕРЯБИН

I

Со взводом не хотелось итти; взвод пришел во двор третьей части в шесть часов вечера, а прапорщик Кашнев к семи часам приехал на извозчике.

Входя во двор в полутьме густого осеннего вечера и ища в карманах шинели бумажку командира о назначении в помощь полиции, Кашнев услышал откуда-то из глубины низкого здания через форточку широкогрудый, сиплый, акцизный бас; бас был хозяйственный, в каждой ноте своей уверенный, как в прочности земли, ругал кого-то мерзавцем, подлецом и негодяем.

„Ишь, разоряется пристав"!—добродушно подумал Кашнев.

Зная, что придется не спать ночью, выспался он после обеда, и теперь, как всегда после крепкого сна все казалось ему сглаженным, безуглым, как-то не совсем установилось, плавало,—и бумажку не хотелось искать: может-быть, была она в сюртуке, в боковом кармане,—бог с ней.

В потемках не видно было всего двора; справа желтел только фонарь где-то в глубине, около сытой желобчатой лошадиной спины, должно-быть—в конюшне под каланчею, а слева через окно, в глубине дома, в растворе каких-то внутренних дверей синел абажур лампы, да далеко прямо, в переплете двух маленьких окошек золотел свет и двигалась в этом свете тень сутулого взводного Крамаренки,

„Все хорошо, и все на своем месте“,—добродушно подумал Кашнев, и ловя на земле шагами скупые полосы и пятна огней, мимо пожарных бочек, круглого чана с желобом, будки с колокольчиком, еще чего-то невнятного, он пошел посмотреть своих солдат, хотя это было и не нужно, и шел как-то инстинктивно по-своему, так как две походки были у Кашнева,—строевая и своя.

Было и еще что-то приятное в этот день, и когда шел Кашнев, он выталкивал это все целиком из памяти, выкатывал, как большой шар. Вот что было.

Ротный его, капитан Абрамов, с утра занимался с солдатами. Война была, но знали, что никуда не пойдет полк, переполненный запасными, и теперь эшелон этого полка,—шесть рот,—нес в городе караульную службу.

Утро было туманное, непролазно мокрое, мягкое: середина ноября, но никак не могла установиться южная зима.

От потных окон мутно было в казарме, и как ядреная антоновка, разложенная рядами, неясно желтели в шеренгах солдатские лица.

Кашнев недавно был взят из запаса и всего только неделю, как перевелся в роту Абрамова и это первый раз при нем с людьми занимался он сам.

Командовал ружейные приемы и поправлял людей.

Тишина,—и в тишине только его голос, точно взрывы ночных ракет. Это был старый капитан, невысокий, сухой, с узкой рыжей, точно в крепком чаю вымоченной бородою; немного сутулился и на отлет держал правую руку. Видно было, что лет пятнадцать уже командовал ротой,—такой был у него тягучий, брезгливый, наполовину зажатый где-то в горле, высокий голос.

„Подлый голос“,—все время думал Кашнев, и старался не слушать его, но он сверлил тяжелую тишину, как буравчик; как-то сквозь полусжатые

зубы, тесно, лениво, но уверенно все время ползла узкая подлая нота и наполняла казарму, и то, что отзвучало,—не пропадало как-будто,—оставалось все-таки где-то здесь же над головой и свивалось узлами.

— Подыми штык!.. Выше штык!.. Антабку в выем плеча... Да в выем плеча-а, т-ты, гужеед!

Другой субалтерн, приземистый толстый Пинчук, тоже прапорщик и кандидат на судебные должности, как и Кашнев, стоял ближе к левому флангу роты, хмурый, обросший, в шинели с каким-то лиловым отливом: глубоко мирный человек в военном наряде. Вот он поднял голову вдруг и посмотрел на него удивленно: это как-раз против него ротный ударил солдата Земляного.

Кашнев видел, как бил Абрамов: бил, как говорил, так же брезгливо, лениво, подло, костяшками сжатых пальцев сверху вниз по зубам, три раза сряду, и осталось в памяти, как часто-часто, чуть откачнувшись, моргал глазами Земляной, ожидая еще одного, такого же презрительного удара. Но побрел дальше Абрамов, примыкая налево, четко и твердо ставя левую ногу и тут же с сухим стуком закоблучий, приставляя правую.

— В поле приклад!.. Тебе говорю—в поле приклад, т-ты, а-ассел!.. Доверни!.. Отверни!.. Разверни!..

Сбоку виден был Кашневу он весь: невысокий, сухопаро-жилистый, с безнадежно распяленым широким кругом лихо набок посаженной фуражки, с жесткими складками сюртука, вздутого на груди и лоснящегося на лопатках.

Двигался приближаясь. Плотный фельдфебель Осьмин, молодой еще, но уже тяжелый, тупо стоял в стороне—руки по швам.

— Значков, штык в поле!—гнусаво процедил ротный.

Вислоусый запасной Значков, поправляясь, отвалил штык назад.

— Да в поле, говорю,—в поле, в поле!..—скучно, привычно, опять костяшками сжатых пальцев и опять три раза по широкой нижней челюсти ударил ротный Значкова, и когда бил, Кашнев почему-то в первый раз заметил ясно, что у Абрамова нахлобученный над густыми усами тонкий нос и борода начинается сразу от скул, а то, как бил он,—вобрал в себя неясно, неполно.

Еще два сухо стукнувших шага и еще солдат Калиберда, круглощекий белый поляк. Его ударил Абрамов как-то вскользь, и даже не правой рукою, а левой небрежно, по пухлой щеке, но против старого, за сорок лет, запасного Лыкошина, уже с проседью в свалявшейся бороде, он остановился. Давно забыл Лыкошин всякие правила строя, и стоял просто, по полевому, и винтовку держал цепко, но неуклюже, как держал бы вилы у стога на сенокосе. И оглядев его всего с головы до ног, Абрамов ничего не сказал. Он поднял брови, хекнул, как дровосек, и сжав в локте правую руку и наклонившись грудью, сделал выпад в лицо Лыкошина, как в пустоту. Подался назад Лыкошин. Смотрел испуганно. Из разбитого рта его животно просочилась наружу кровавая слюна.

Повернулся и пошел из казармы к двери Пинчук. Потом видно было в окно, как он медленно шел по двору, опустив голову и заложив за спину руки. И Абрамов это заметил.

— Крамаренко! Передай прапорщику Пинчуку, что я—э-э прошу его заниматься, а по двору нечего гулять... Прапорщик Кашнев,—повернулся к нему,—просмотрите вторую шеренгу!

И вот только теперь, когда Абрамов тем же подлым голосом, металлическим, пронзительным и тягучим, назвал его по фамилии,—Кашнев почув-

ствовал, что ненавидит капитана. Сразу все стало колюче ярко: и разбитая, слюняво-красная губа Лыкошина, и чьи-то еще мигающие глаза, и зеленоватые глаза Абрамова, под висячими бровями, и рука его, поросшая рыжим волосом.

— Кап-питан!—запнувшись, крикнул вдруг Кашнев.—Я вас прошу, капитан, людей не бить!

— Что-о-о?—тихо, изумленно, казалось больше широкими глазами, чем голосом, сказал Абрамов, и сразу изменилось его лицо,—стало дряблым, позеленело.

— Не бить!—очень звонко, как-то мальчишески звонко повторил Кашнев, и тут же почувствовал ясно, что побледнел, но не заметил, что правую руку положил зачем-то на эфес шашки. Об этом после сказал ему вошедший в эту минуту Пинчук. Но Кашнев не заметил и Пинчука. Стало тихо после того, как крикнул он последнее: „не бить!“ и что-то долго после этого в казарме было четко, почему-то светло и напряженно тихо. И капитан Абрамов стоял по-строевому и широкими глазами с одним и тем же выражением изумления смотрел на него в упор. Почему-то от этого взгляда Кашнев не мог отвести глаз.

И вот в тишине гулкие, размеренные, крепко спаянные слова:

— Этот тычок вы называете бить солдата?— Абрамов качнул головой в сторону Лыкошина, не отводя взгляда.

— Да, этот тычок я называю бить солдата!— выкрикнул громко Кашнев и подумал тут же: „почему я сказал его же словами?“

— Этот тычок вы называете...—начал было снова Абрамов, повысив голос и поднявши голову,— но справился с собой, прервал себя:

— Кого же я бил?.. Солдат... Каких солдат?

— Каких?—удивленно спросил Кашнев.—Земляной! Значков! Калиберда! Лыкошин!.. Выйти из строя!—крикнул он в роту.

Несмело вышли, как стояли, с винтовками у ноги, сначала Лыкошин и Значков, потом Калиберда и после всех Земляной.

— Из строя?—Абрамов высоко поднял брови, оглядел их, кашлянул глухо, грудью.—Этих бил?.. Земляной, тебя я бил?—металлически—отчетливо спросил Абрамов.

Земляной молчал, потупясь.

— Бил или не бил,—отвечай!.. И прямо смотри, по-солдатски!—крикнул, вдруг покраснев Абрамов.

— Никак нет, ваше высокоблагородие!—шарахнулся куда-то в сторону пугливым голосом Земляной.

— Как так?—спросил удивленно Кашнев.

— Значков, тебя я бил?—перевел глаза на второго в ряду Абрамов.

И Значков качнул усатой головою, запнулся было, но лихо, громко ответил:

— Никак нет, ваше высокоблагородие,—не били!

Растерянный Кашнев даже переступил на шаг ближе к шеренге, что-то хотел сказать, но слова застряли в горле.

— Калиберда, тебя я бил?—так же уверенно и высоко зазвучал снова голос ротного.

Круглый, вялый, молодой еще солдат, помолчал и так же лихо, как и Значков, вдруг, ответил:

— Никак нет, ваше благородие!

— Что-о?—переспросил презрительно Абрамов.

— Ваше высокоблагородие,—тут же поправился Калиберда.

Кашнев почувствовал какой-то противный вкус во рту, и в висках застучало, и на Лыкошина, у которого из разбитой губы все еще сочилась кровь, он глядел с ужасом: если и он скажет, что другие...—даже думать не хотелось как-то, что будет

тогда. А Лыкошин не сводил с него глаз, и когда Абрамов спросил его:

— Лыкошин, тебя я...—он не дал ему докончить: бородатое старое лицо его перекосилось, замигало по-бабьи, и он ответил поспешно:

— Так точно, ваше благородие, били!

— Ббил?.. Мне отвечай, а не...

— Ваше высокоблагородие, били, так точно,— твердо, как упрямый мужик, ответил Лыкошин, даже головой подкачнул.

И потом стало как-то легко в казарме.

И в тишине несколько длиннейших секунд неподвижно стоял Абрамов, потом повернулся и пошел грудью вперед через всю казарму в дальний угол, в открытые двери канцелярии. И когда ушел, то оставил после себя тишину, которой не хотелось нарушать даже Кашневу, и солдаты стояли „смирно", потому что ждали конца: нужно было как-то закруглить то, что случилось.

— Фельдфебель! — крикнул из канцелярии Абрамов.

Сорвавшись с места, побежал широкий в поясе Осьмин, стараясь ступать на носки и придерживая шашку рукою.

— Передай прапорщику Кашневу, что я прошу его заниматься с ротой!—крикнул ему навстречу Абрамов и добавил злобно:—Бежишь, как брюхатая баба!.. Пошел!

Осьмин повернулся, подошел к Кашневу и передал:

— Ротный командир приказали вам, ваше благородие...

— Хорошо, слышал,—перебил Кашнев, зачем-то поправил фуражку, переглянулся с Пинчуком, облегченно улыбнулся. Потом почувствовал, что лоб у него холодный и мокрый, не спеша вынул платок и вытер пот.

Он вывел роту на двор казарм, где земля была еще влажная от тумана, но уже слоилось вверху синее небо; а со двора—„правое плечо вперед“—на дорогу, в поле. Там он с полуротой атаковал по всем правилам Пинчука, который с другой полуротой занял кладбище; Пинчук был застигнут врасплох и сдался.

В казарму пришли с песнями, и солдаты пели лихо и весело, точно и впрямь были в каком-то деле, необыкновенно удачном для русского оружия.

Абрамов был еще в канцелярии, и когда пришла рота, стал в дверях и смотрел, как составляли ружья, раздевались, готовились итти на обед. Смотрел, курил и молчал.

Когда Кашнев пришел домой, следом за ним принесли бумажку о назначении в помощь полиции.

Теперь, подойдя к окошку, в котором увидел он спину Крамаренки, Кашнев припомнил еще, как конфузливо жал ему руки Пинчук, когда они прощались, расходясь по квартирам. К тому времени разгулялся день, и был Пинчук весь на солнце, черный, приземистый и конфузливый. Гадал, даст ли делу ход капитан Абрамов, и почему-то убежден был, что не даст.

Он был семейный, и все искал в себе каких-нибудь болезней, чтобы лечь в госпиталь и потом выйти снова в запас.

Ходил кособоко,—левое плечо выше, правое ниже, шинель сшил из дешевого толстого сукна и шашку купил где-то на толкучке за полтинник.

— Встать, смирно!—истово крикнул Крамаренко, когда увидел Кашнева в дверях.

Солдаты вскочили, вытянулись, застыли.

И вот, вдали от казармы, солдат и как-будто не солдат, этих давешних людей стало как-то неловко Кашневу.

Они смотрели на него новые при скупом свете дрянной керосиновой лампочки, все с лицами усталыми, ожидающими чего-то, а он не знал, зачем они это и что им сказать.

— Ну, что, как?—неопределенно спросил он.— Это что за дыра?

— Это, ваше благородие,—кордегардия; кутузку нам отвели,—ответил Крамаренко.

— Попали за верную службу в кутузку раньше времени,—сказал пожилой запасный Гостев, и улыбнулись все.

— Ваше благородие, нельзя ли нам соломки где взять, на пол постелить... А нахаркано ж везде, страсть!—сказал кто-то другой.

— Нечистота,—поддержал третий, степенный.— Как тут лечь? Шинеля позагадишь... И тесно!

— А пристав объяснил, что тут делать? В чем помощь полиции?—спросил Кашнев.

— Сказали, что в обход пойдем в двенадцать ночи,а до того времени, чтобы спать лягали,—ответил Крамаренко.

— А спать тут не успишь,—подхватил Гостев.— И клопы!

— Хорошо, достань соломы... Я вот передам приставу... Тут где-то я лошадь видел,—должнобыть есть солома.

— Пожарная команда тут,—как же!—подхватил Гостев.—Тут соломы тьма!

Кашнев всмотрелся в его лицо, подслеповатое, с белобрысой бородкой и подумал отчетливо: „Рядовой, а все время говорит, когда не спрашивают...“ И потом выкрикнул, как мог начальственно и строго:

— Крамаренко, распорядись!

— Слушаю!—ответил Крамаренко и проворно взял под козырек.

Когда шел к чуть заметному крыльцу дома Кашнев, походка у него была уже строевая и он

не искал ногами золотых полос и пятен, а шагал прямо „направление на крыльцо". На крыльце долго не мог найти щеколды, а когда нашел и отворил дверь, наступил в темноте на какого-то щенка, который завизжал оглушительно и бросился мимо ног на двор. Наудачу Кашнев отворил прощупанную впереди дверь, обитую клеенкой. Запахло щами и хлебом; городовой, вскочивший с лавки, на которой он ел, поспешно вытерся рукавом и проводил его в канцелярию.

II

При первом же взгляде на пристава Кашнев как-то странно почувствовал не его, а себя—свое юношески гибкое тело, узкие руки, едва опушенное лицо: так остро чувствуют себя люди при встрече с чем-то бесконечно далеким от них и враждебно чужим. Кашнев считал себя выше среднего роста, но чтобы посмотреть в глаза приставу, он сильно поднял голову.

Пристав был громаден. Когда он, представляясь, просто сказал свою фамилию:—Дерябин,—то как-будто нажал на басы церковного органа, и рука его, в которую попала рука Кашнева, оказалась таким большим, теплым, мягким вместилищем, точно стал Кашнев дитя, и погрузил детские пальцы в песчаный речной берег, сильно нагретый июльским солнцем. Сквозь круглые очки глядели выпуклые, серые, близорукие глаза, большие на большом круглом безбородом лице, и голова была коротко остриженная и тоже округлая, как арбуз. Тужурка казалась тесной в плечах и в вороте и вся была как-то битком набита упругим мясом. Было приставу тридцать пять лет на вид или немного больше.

— Побеспокоили мы вас,—прошу простить: новобранцы! Ежели не пьет, не буянит, не орет,

фонарей не бьет, сукин сын, то какой же он новобранец, чорт его дери? Закон у них такой, штоп...

Вместо „простить„ у него вышло „простеть“, а вместо „буянит“—„буянет“: „и“ ему было не по голосу.

Потом он повернулся от Кашнева неожиданно легко для своего огромного тела и крикнул в двери:

— Культяпый!

И тут же в какой-то дальней комнате что-то загромыхало и покатилось по незаставленным ничем полам: слышно было, что дальше за канцелярией несколько комнат, и все пустые. Потом в двери пролез Культяпый,—кривоногий седенький старичок, одетый в форму будочника, и стал смиренно.

— На стол!—коротко приказал Дерябин.

И когда уходил Культяпый, тем же манером громыхая по комнатам,—сказал о нем пристав:

— Нянька моя,—меня выхаживал во время оно... Дурак, но предан. Держу, чорт его дери.

Два писарька сидели в канцелярии,—им крикнул пристав:

— Марш домой!.. С нас вас на сегодня будет, собственно говоря.

И писарьки,—один угрюмый, красноносый, явный пьяница и сутяга, другой—угреватый подросток, вскочили, застучали, складывая толстенные книги, и ушли.

И вот осталась большая, вся заставленная столами канцелярия, лампа с синим абажуром, за канцелярией внятная пустота нескольких комнат, за форточкой сырой темный вечер,—и пристав. И несколько мгновений пристав смотрел на Кашнева молча, немного жуткий, потому что был освещен снизу лампой, отчего лицо его стало сырым, синим, вздутым, как у утопленника;—молчал, только для вида перебирая на столе какие-то бумаги.

— Между прочим...—поспешно, точно боясь забыть, начал Кашнев:—солдат, своих помощников, вы—в каземат... Неужели нет больше места?

— Солдат? Куда же мне солдат?.. Дворец для них? Баловство!—Пристав посмотрел на Кашнева как-то сразу всем телом и добавил:—Терпи голод, холод и все солдатские нужды... что? Даром что ли новобранцы фонари бьют, чорт их дери? Баловство! Разврат!

— Я приказал им соломы в конюшне взять,—ответил Кашнев, смотря ему прямо в большое лупоглазое лицо,—но не так, как смотрел утром в лицо Абрамова, а просто, только бы смотреть,—и докончил:—постелить на пол, а то там наплевано.

— А я прикажу взять обратно!—крикнул Дерябин.—Баловство!.. Зачем им солома?.. Нежность!.. И на чорта мне их пригнали пятьдесят человек? Что мне с ними, в чегарду играть?.. Эй, дежурный, гоп-гоп!—крикнул он в двери.

И не успел еще Кашнев сообразить, как ему лучше обидеться на пристава, как уж кричал он кому-то в другой комнате:

— Передай взводному, чтоб... пятнадцать человек при унтер-офицере оставил нам, а прочих—в ярок на пчельник, в казарму на тапчанах спать, чорт их дери! Да солому там,—если солому взяли, так потом ее прямо в навоз, под лошадей в стойла не класть: раз солдат поспал, так уж на эту солому и лошадь не ляжет... Понял?—П'шел!

В пустой комнате голос пристава бурлил и клубился, как дым кадильный, а Кашнев сзади смотрел на его дюжую спину, могучую шею и светлый затылок и все как-то не знал, что ему сделать: нужно было что-то сказать колкое, но он сказал:

— Поэтому и я вам тоже не нужен?.. Прощайте.

— Кто? Вы?—Пристав поспешно обернулся и взял его за плечи.—А для кого же стол накры-

вают? Господи твоя воля!.. Сказано было:—взвод при офицере... ну? Взвод я по мирному составу считал,—по военному прислали. Ошибка исправлена. Лишних людей отослали, чорт их дери, спать, а офицера... нет-с, не отдам! Культяпка! Сыми с их благородия шинель, живо!.. и спрячь!

И где-то в соседней комнате звякавший посудой Культяпый подкатился к Кашневу на коротких ножках и, сопя, принялся стаскивать с него шинель. Он касался его своими седенькими мертвыми бачками и лоснящимся небольшим черепом; изо рта его сильно пахло съеденными старыми зубами, и руки тряслись.

— Вы семейный?—зачем-то некстати спросил пристава Кашнев.

— Omnia mea!—ответил пристав и поднял указательный палец вровень с лицом.

Из этого Кашнев понял, что он одинок.

Столы в канцелярии были неопрятные, некрашенные, сосновые, старые, покрытые листами пропускной бумаги, замазанной чернилами; было накурено и сперто—не помогала и форточка; неподметенный, заслеженный грязный пол скрипел песком под ногами. Кто-то сдавленным пискливым скопческим голосом, картавя, неприлично выругался в той комнате, где гремел посудой Культяпый.

— Сильно сказано,—отозвался на это Кашнев.—Кто это?

— Попка. Ка-ка-ду,—шаловливо протянул пристав и улыбнулся длинно, при чем толстомясое лицо с бычьим подгрудком помолодело вдруг.—Случается,—дамы его ласкают: попка—попочка, попка—душечка!—а он как запустит,—господи, твоя воля! Сколько раз за него извиняться приходилось: люблю, мол, эту птицу, но-о... воспитана плохо, никак отучить не могу,—прошу простить.

И тут же он, пышащий только-что закуренной папиросой, вдруг крякнул весело, подхватил сзади

Кашнева за локти, как это делают с детьми, высоко поднял, грузно пробежал с ним несколько шагов, распахнул им же настежь двери и поставил на пол в той комнате, где гремел посудой Культяпый и неприлично ругался попугай.

Горела большая высокая лампа, от которой свет дробился весело на горлышках бутылок, рюмках и жестянках с консервами, которыми был уставлен стол; блестели листья большого фикуса в углу, и в просторной куполообразной клетке, головою вниз висел белый какаду и трещал поперек по спицам крепким клювом, раздувая сердито хохол. На стене над большим диваном развешаны были ружья, шашки, револьверы.

III

— Милый мо-ой!—раскатисто гремел пристав, сидя с Кашневым за столом и накладывая ему на тарелку шпротов.—Вы себе представить не можете, какие все в общем мерзавцы, подлецы, негодяи,—представить не можете!.. Вор на воре! Мошенник на мошеннике! Подлец на подлеце!—Факт, я вам говорю!.. Ведь отчего у нас столько преступлений? Иностранцы берут наши газеты,—диву даются: на каждом шагу убийства, разбои, какие-то цыганские шайки тоже... фигуряют!.. Что такое? Откуда, я вас спрошу? Простейшая история: об-щество у нас жулик на жулике, общество по-го-ловно все—подлейшего состава! Понятия о честности ни малейшего!.. У нас если не крадет кто,—просто случая подходящего ждет. Дайте ему смошенничать втихомолку, в укромном месте,—отца родного продаст, только бы тот не узнал,—факт, я вам говорю! У нас арестантов ведут, а им бабы копейки суют: несчастненькие!.. Да он на своем веку дюжину таких баб, как ты, шкворнем ухлопал, дура чортова!.. Всепрощение?—это называется слюни пускать, а не всепро-

щение! Принципов нет! Круговая порука: нынче ты меня ограбил,—ты в кандалах, завтра я кого ограблю,—я в кандалах... От тюрьмы, от сумы не отказывайся... Разврат!—факт, я вам говорю! На каждого нищего, как на первейшего мошенника нужно смотреть, а они у нас рассадники жалости, а-а?.. Какая у нас жалость, милый мо-ой! У нас жестокость нужна! Драконовы законы нужны!.. На полицию ты с уважением смотри, а не так!.. Полиция не с ветру!.. Ты общество копни, т-ты! Нутро копни, а не какой-нибудь ноготь, болван! Зерно возьми, раскуси, а не... а не так... с чердака в лапоть... да-с!.. Ну-ка, холодно в Сибири, выпить надо!—и пристав, все время сверкавший очками, вдруг снял их,—отчего лицо у него, как у всех близоруких, сразу потухло, стало наивным, сонным, расплывчатым,—и взялся за рюмку.

— Пожалуй, одну я выпью,—сказал улыбаясь, Кашнев.

— Одну? Как одну? Почему?.. Не пьете? Совсем не пьете?—удивился пристав.

— Нет, не приходилось как-то...

— Смотрите! Баран у нас вот так тоже не пил—не пил да издох. Ну-ка мы!—и он потянулся чокаться.

Но когда приподнялся Кашнев ему навстречу, пристав увидел у него на груди маленький скромный значок, которого он почему-то не успел заметить раньше: синенький крестик в белом ромбе.

— Как?—онемело спросил Дерябин, и прищурил глаза.

Руку с рюмкой он тоже отвел. Другой рукою нашарил очки, прикинул к глазам, пригляделся испуганно:—Э-т-то... что значит?

— Что вы?—не понял Кашнев.

— Так вы мельхиоровый? Из запаса? По случаю войны взяты?.. С воли?—с усилием спросил Дерябин.

— Да. Что из этого следует?—обиженно спросил Кашнев.

— Ничего,—нахмурился вдруг пристав, и медленно,—лупоглазый, красногубый, с небольшими усами подковкой,—наклонил свою рюмку над пустою тарелкой и вылил водку. Потом он как-то тяжело ушел в мягкое кресло, на котором сидел, подперся рукою и закрыл глаза. Только слышно было, как густо дышал, раздувая широкие ноздри небольшого носа.

Попугай обругался вдруг в тишине. На стене напротив как-то серьезно молчали симметрично развешанные ружья, шашки, револьверы. Мертво блестел лист фикуса. Кашневу было неловко, и думал он, не пойти ли просто домой. Подумал о своих солдатах: должно быть, спали теперь в каземате на свежей соломе.

Вот открыл снова глаза Дерябин, мутно приглядделся, спросил немного хрипло:

— Вас... как зовут?

— Дмитрий Иванович,—с привычной готовностью ответил Кашнев.

— Митя?—неистово удивился Дерябин.—У меня ж брат был Митя,—от тифа умер... Какой малый чудесный был! Митя! Выпьем на ты!—вдруг поднялся Дерябин.—А?—И почти безволосые, еле внятные брови нахмурил, наклонил голову, вобрал подбородок и исподлобья глядел на Кашнева, ожидая.

— Как-будто... на ты нам пить...—запнулся Кашнев, улыбнулся конфузливо и покраснел, и покрасневши, сам на себя обиделся вдруг; подумал: „не все ли равно?—ведь, никогда его больше не увижу...“ И неожиданно для себя поднял рюмку и сказал:

— Что же, выпьем.

И потом сразу стало тесно, трудно, жарко: это могуче обнимал, тискал и целовал его в губы

и щеки Дерябин. И глядя на него влюбленными, радостными глазами, тяжело, точно страдающий одышкой, говорил Дерябин:

— Митя, а?.. Митя!.. Ведь ты себе представить не можешь, какие все в общем мерзавцы, скоты!.. У тебя в казарме там что? Ти-ши-на! „Никак нет", „ряды вздвой", „равнение направо"... А я здесь, как чорт в вареной смоле киплю! Свежего человека нет,—все подлецы! Факт, я вам говорю!.. Насчет новобранцев—это я сочинил, что мне солдаты нужны, чорт их дери... Ты, уж,—прошу простить, сочинил. Мне офицер был нужен. Со взводом, думаю, кого же пошлют? Субалтера, молодого какого-нибудь, честного... Ты ведь честный, Митя, а? Даже спрашивать нечего, честный еще, по глазам вижу,—честный... Митя, а?.. Ну, выпьем! Нне так! Т-ты, гимназист! Крест на крест. Руку давай сюда, вот! Гоп! — и Дерябин лихо поддал, как на каменку, свою рюмку, и поперхнулся водкою Кашнев.

Сказал пристав, усевшись:

— Это напрасно у меня такая фамилия—Дерябин; мне бы нужно Бессоновым быть: я вот третью ночь сегодня спать не буду. Вчера ночью с новобранцами возился, а третьего дня меня чуть было студент один не убил.

— Как?—спросил Кашнев.

— Как! Как убивают?--Вооруженное сопротивление. Арестовать нужно было, я к нему в два часа ночи с нарядом, а у него дверь на замок,—и пальба пачками. Сражение. Городовому одному ухо прострелил: так кусок и выхватил,—вот, с ноготь кусок... Как рвану я эту дверь, да в комнату! Раз он в меня,—вот так пуля! Рраз,—вот это место мимо пуля.. н-ну, руки ж дрожали, дрянь! Кинулся я—и его с ног сшиб, и револьвер отнял,—честь-честью!.. Вот револьвер,—маузер.

И, говоря это, он подошел к стене и снял длинный, солидно сделанный новенький револьвер.

— Вот! Из него, как солдатской винтовки пали: никакого промаху и быть не может!.. Как он в меня не попал?—нет, ты скажи, чорт его дери! Что я для него,—муха?

И держа маузер на прицел, он спросил:

— У тебя какой системы? Наган?

— У меня?.. Да у меня никакого нет,—почему-то неловко стало Кашневу.

— Газета на шнуре?.. Хочешь, — подарю?.. Вот—наган. Система—наган, работа—Тула,—бери. Бьет здоровенно, не смотри, что Тула... А маузер нельзя, к делу пришью... бери.

— Ну, вот... Точно я купить не могу,—отвел Кашнев его руку с наганом.

— Отказался? Что?— удивился Дерябин. Он стоял с револьверами в обеих руках и обиженно смотрел на Кашнева воспаленными от бессонных ночей глазами:—Почему отказался?

— Зачем же такие подарки делать?—мягко говорил Кашнев.—И ты... (неловко вышло у него это первое ты) ты меня ведь в первый раз видишь...

— Так что? Не пойму!

— И, наконец, что это за револьвер такой, бог его знает!

— Та-ак!—горестно протянул пристав.—Так и запишем.

Но вдруг, закусив губы и дернув широкими ноздрями, он крикнул:—Культяпый!.. Я тебе его сам в кобур положу!—погрозил он Кашневу наганом; и когда появился Культяпый, он закричал ему, вращая красными белками:—Найди там кобур их благородия и привяжи это к шнуру, — понял?

Культяпый бережно взял револьвер и выскользнул с ним проворно как мышь.

— Митя!—крикнул Дерябин, восторженно глядя на Кашнева.—Митя! Братишка мой был Митя,—от тифа помер... дай, боже, царства небесного... Друг!—он положил тяжелые руки ему на плечи.—Ради дружбы, ради знакомства нашего,— сними ты это!—и он гадливо показал глазами на значок и передернул губами справа налево.

— Ну, вот! Зачем это?—улыбнулся Кашнев.

— Не могу я этого видеть,—сними! Вынести этого не могу!.. И точно не офицер даже, а какой-то переодетый немец, чорт его дери!.. Спрячь, Митя!

У огромного Дерябина стали вдруг умоляющие, немного капризные, детские глаза.

— Ведь тебе это ровно ничего не стоит, а мне... а меня это... по рукам-ногам вяжет, бесит!—страдальчески выкрикнул Дерябин и отвернулся.

Кашнев представил, как позапрошлой ночью, в двух шагах от Дерябина стрелял студент, и понял что-то; пожал плечами и медленно отстегнул значок, повертел его в руках и положил в боковой карман.

— Друг! Митя!—заорал Дерябин.—У тебя ж сердце!.. Господи,—это ведь с первого взгляда видно!.. С одного взгляда!.. Со взгляда!..

И опять Кашневу стало тесно, трудно и жарко, и еще было ощущение такое, как-будто кого-то он предал, но тут же прошло это. Было немного пьяно, перед глазами мутно. Скрипел и трещал спицами какаду.

IV

— Я—дворянин, милый мой! И горжусь своим дворянством, и своим офицерским чином, и своей службой в полиции!—клубился голос пристава, как дым кадильный.

Дерябин пил много и много ел, и теперь лицо его как-то начало отвисать книзу: и двойной подбородок, и толстая нижняя губа, и верхние веки,

и короткие косички волос, прилипшие к потному лбу,—все как-то спустилось вниз.

— Я ведь тоже в гимназии был, а в университет не пошел... почему?—не хотел; пошел по военной службе. Что? Плохо я сделал? Не то?.. А я себя ломать не хотел, милый мо-ой! Любил скачки охоту, песни, танцы, чорт их дери,—женщин! Люблю женщин! Не одну какую-нибудь, а всех вообще... вот! Против натуры не хотел итти... В пограничной страже служил против Галиции на Австрийской границе... А-ах, служба ж была занятная!.. Контрабандисты! Шельмы народ! Двутавровые волки! Ухачи!.. Из-за одного меня со службы турнули... Кутили мы там на фольварке у одного панка, польский мед пили, а тут взводный, дурак, мне: „Контрабандиста задержали ваш-бродь,—что прикажете из им делать?..“ Нет, ты вот рассуди,—не дурак? Что „из им“ можно делать? Ну отложи его куда-нибудь до утра, а то ночь, и мед этот чортов, и я пьян... „Повесить!“—говорю.—„Слушаю“,—и ушел. Так минут через двадцать приходит,—а у нас пьянство своим чередом,—в притолку уперся: „Так точно,—говорит,—повесили“... Что? Кого повесили?.. Мы уж и думать забыли!.. Как смели? Идем смотреть с фонарем. Висит, действительно, факт! Еврей какой-то, лет двадцати, глаза на выкат, зубы оцерены... Конец. Тты, чорт!—Преступление. Превышение власти. А уж утром тут из местечка родные этого прискакали... Что? Суда ждать?.. Я взял сам по начальству на себя донес. Сколько-то там дней,—от командующего войсками телеграмма: „Контрабандиста предать погребению, офицера увольнению, эпизод забвению“. Я и подал в отставку.

— Этот анекдот я, кажется, слышал,—сказал Кашнев.

— Со мной случилось, а не анекдот! Факт, я вам говорю!—нахмурил безволосые брови пристав.—

Но-о демократов,—этих я ненавижу!.. Своей службы в полиции не стыжусь, нет! А демократа,—я его знаю! Вполне-с!.. Он... корнаухий! (Дерябин хитро завернул пальцем правое ухо) у него что ни зуб, то щербина, оба глаза косят... хрромой... ррвотой через день страдает... регулярно, чорт его дери! Он когда из маузера в упор в стенку стреляет и то норовит не попасть... факт!.. Нет, ты если с носовым платочком идешь, так платочек этот чтоб чистенький, беленький, чтоб кружевами обшит,—тты! Ты его духами спрысни, чтоб пахло!.. Ты, если слабость, так без наряда ты, чорт тебя дери, на улицу и носу не суй, если ты слабость,—а то живо тебе хвост грязными сапожищами отомнут. Ты не вопи на перекрестке,—ты! Ты, чорт тебя дери, человеком будь!

— Что ты? Что ты? Дикарь ты! Не то!—махнул рукою Кашнев и улыбнулся длинно. Он никогда не пил много водки и теперь размяк, одряхлел и появилось в нем что-то женское.

— Не то?—крикнул Дерябин.—Плохо я говорю? Окончательно не то или не окончательно? А?.. Милый мо-ой! Ты себе представить не можешь, какая все в общем слякоть, дрянь! Ни тоски—ни радости,—так, дрянь одна!.. Ты вот... этого студента я... ты меня извини... примял немного... и не то, чтобы я это... в пылу битвы, а так,—уж очень мерзко стало: из такого револьвера не попасть в двух шагах... что я? Копейка?—чорт его дери! Суется в волки, а хвост поросячий!.. В меня один цыган-конокрад стрелял на скаку,—кокарду сшиб! Волосок бы еще,—и мое вам почтенье,—свистульку в череп! На скаку! Двух урядников калеками сделал, пока самого убили... факт! Прошлым летом было... Митя, ты не юрист?—перебил вдруг себя Дерябин.

— Юрист,—ответил Кашнев, все больше хмелея.

— Правда? Юриста, брат, сразу видно: у него вид легкомысленный!.. Это я шутя, прошу простить и к сердцу не принимать. А в хиромантию ты веришь?.. Мне, брат, одна немка мои линии читала... (Дерябин вытянул над столом здоровенную ладонь) где она тут какую-то линию жизни нашла?.. С перерывами, говорит,—но-о... длины страшной. Однако, отправить, иде же несть болезнь, всегда могут, со всякой линией... А перерывы,—это вот именно—огнестрельные раны... факт... Митя, а ты женщинами увлекался? Не так, чтобы прохладно, для развлечения,—а чтобы труба, утоп? Нет? По глазам вижу, что нет. Смотри, ладанка.

И, быстро расстегнув тужурку, снял с себя Дерябин золотой медальон, щелкнул и открыл портрет какой-то молодой женщины.

— Командира нашего, корпусного,—отдельного корпуса пограничной стражи—безграничной кражи... Нашего,—а это десять лет назад дело было... Бал был... Я ее с бала увез! Понял, что это значит?.. За это и со службы долой.

— Давеча ты сказал, кажется...—начал было Кашнев, но не докончил и улыбнулся. С медальона смотрело конфеточное лицо в кудряшках, и он точно подумал о ней вслух: — Должно быть располнела теперь, за десять лет, а лицо стало в желтых пятнах... Кудряшки мелкие, жесткие, зубы позеленели... почему-то иногда зеленеют спереди...

— Митька!—крикнул пристав. Стал перед ним и смотрел на него с каким-то ужасом и шипел сдавленно, наклоняясь:—Возьми назад!.. Сейчас же назад!.. Сейчас же возьми назад!..—Даже побледнел Дерябин, и жила на лбу надулась.

И сконфуженный, отрезвевший Кашнев пробормотал растерянно:

— Я пошутил. Сознаюсь—неловко. Прости.

А Дерябин, пряча медальон и застегивая пуговицы тужурки, все глядел на него недоумевающим, почти испуганным и жестким взглядом больших близоруких белесых глаз, и так неловко стало Кашневу, что он поднялся даже, стал близко к Дерябину, протянул ему руку, и сказал запинаясь:

— Вижу, что обидел, очень обидел... Извини, голубчик!—и пожал крепко прочную руку Дерябина, поданную медленно, сдержанно и молчаливо.

А в это время в напряженной неловкой тишине комнаты вдруг резко и картаво неприлично выругался попугай.

V

— Митя, а ты против рожна прал?—спросил пристав, когда успокоился, выпил хинной водки и закусил заливным из судака.—Не понял, о чем говорю, или понял?—добавил он, заметив, что глаза у Кашнева далекие.

Но Кашнев понял.

— Случалось иногда, прал,—ответил он улыбнувшись.

— Но... не очень? До большого у тебя, видно, не доходило, нет?.. Иначе мы не имели бы удовольствия сидеть за одним столом... так?—прищурился пристав.

— До большого? Да нет.

— Не рисковал шкурой так, чтобы за други живот? Хвалю. Незачем. Прокурором со временем будешь... Россия—полицейское государство, если ты хочешь знать.., А пристав—это позвоночный столб,—факт! Его только вынь, попробуй,—сразу кисель!.. Милый мо-ой! Что тебя красавчиком мать родила,—в этом заслуги особой нет! Ты вот из урода процвети, тогда я к тебе приду и свечку тебе поставлю... А то полиция! Полиция работает, ночей не спит, только от полиции и порядок. Ты его

в красный угол, на почетное место, полицейского, а у нас он в том углу, где ночные горшки ставят... Ты, вот у меня в гостях почему? Потому, что ты, не в гостях, а в наряде... а без этой оказии погнушаешься и не зайдешь,—факт!

— Отчего не зайду?—спросил Кашнев потому только, что Дерябин смотрел на него в упор и ждал именно этого.

— А ты, собственно зачем же зайдешь?—Дерябин не улыбнулся, когда добавил:—Если бумажник украдут, пожалуй зайдешь... заявить.

— Нет, отчего же, именно в гости и зайду,—серьезно ответил Кашнев.

— Зачем же? Говорить тебе со мною... о чем? А угощение это не мое, мне ничего не стоит,—даром дано. Сказал, пришлите кулек,—прислали кулек. Сто зубов против них имею, и они это отлично знают! А вот почему, они так не делают, чтобы я к ним ни одного зуба? Невыгодно. Подлец на подлеце! Мошенник на мошеннике!.. Не полиция—подлец, народ—подлец!.. Факт!.. Мне сослуживец мой, мой помощник, старше меня и чином и годами, старик, и души большой,—из исправников сместили за слабость... иногда говорит мне: „Ваня! От тебя в десяти шагах стоять,—и то жарко: до того ты горяч". А я потому для него и горяч, что сам он—зубами ляскает. Так человека запугали, что теперь с перепугу только и делает, что водку цедит. Держу, чорт его дери, а пользы от него,—почеши затылок! Заберется с ногами куда-нибудь в поганый трактир и сидит, как пуля в дубу... Прямо, как влюбленная баба стал: что ни начнет делать, двадцать раз прибежит спросить,—так он сделал, или не так сделал... Пошлешь его в ярок на пчельник, да сам сделаешь... И ведь случаев всяких их тьма темная, а нужно всегда что? Нужно сразу и точно знать, что тебе сделать, сразу и точно... и

всегда. И колебаний никаких, ни боже мой,—потому что власть!.. Понял? Что? Плохо я говорю? Не то?

— Хорошо говоришь,—сказал Кашнев.

— То-то... Как же он смел мне сказать: палач?

И, говоря это, Дерябин вскочил вдруг и закричал, поводя налитыми кровью глазами (глаза были влажные, и показалось Кашневу, точно красные слезы в них стояли).

— Да он знает, что такое палач? Ах, корнаухий! Самое подлое слово, какое в человеческом языке есть,—каналья он!.. Ведь я по нем, по его дверям залп мог дать, а я на рожон полез, сам полез, чтобы он жив был,—стало быть, я не палач!.. Я!.. Я когда становым был,—мужицкие самовары за недоимки продавал,—да, продавал,—овец, коров, самовары... Я с мошенников взятки беру,—да, беру взятки,—с воров, с мошенников!.. Да ведь всех воров и мошенников судить,—их у нас не пересудишь, вор на воре, мошенник на мошеннике... Все—воры! Всякий—вор! Честным у нас еще никто не умер,—чуда такого не было — факт!.. Ты — честный? Ты пока еще так себе, молочко... Еще не жил, поживи-ка,—украдешь. За час до смерти, если случая не было, последнюю портянку у денщика украдешь,—так и знай! Так с портянкой в головах и помрешь,—факт, я вам говорю!..

Засмеялся Кашнев. Смотрел на ярого пристава с дрожащими губами и раздувшимся носом и не мог удержаться, смеялся по-детски.

— Ты... что?—тихо спросил Дерябин.

Но Кашнев смеялся, как смеются школьники, когда им запретил уже это учитель: отвернулся как-то на бок и фыркнул.

— Нет, ты что? Ты пьян?—сказал недоуменно Дерябин.

И опять, как в первый раз, когда увидел пристава, Кашнев ощутил как-то остро всего себя, свое

молодое, тонкое двадцатитрехлетнее тело, свои пожалуй бледные теперь овальные щеки, чистые, красивые глаза, немного узкий лоб, мягкие темные волосы. А смеялся он как-то так, даже и объяснить не мог бы, почему. Просто, казался смешным пристав, и даже не совсем ясен был он: то расширялся весь,—и нос и губы,—то вытягивался и слоился.

— Нет, откуда же пьян?—нетвердо спросил он Дерябина.

— Ты больше не пей,—сказал Дерябин и отодвинул от него рюмки.

Кашнев огляделся кругом,—увидел опять стену, всю увешанную оружием, неугомонного белого попугая, который все качался и грыз спицы клетки; пасти окон, закрытых ставнями снаружи; фикус с обвисшими листьями.

— Нет, я не пьян,—сказал он громко,—мне только смешно показалось, как это я портянку солдатскую украду!..

И вдруг он вспомнил, что с ним случилось сегодня утром, и показалось ему, что вот сейчас он должен сказать это Дерябину, сказать, что не только не украл ничего солдатского, а даже...

— Ваня!—сказал он ласково, чуть восторженно и лицо у него загорелось,—вот ты сейчас до солдатской портянки дошел, а ты и не знаешь...

Он положил руку на плечо Дерябина, удобно широкое, как конское седло, посмотрел в его все еще подозрительные белесые глаза и вспоминая то, что случилось, почувствовал неловкость:

— Ты должно быть страшно силен, а?—неожиданно для себя застенчиво спросил он.

Дерябин кашлянул глухо, как-то одним ртом, покосился на него и сказал хрипло:

— Так себе... Пять пудов выжимаю.

— Здорово!—качнул головою Кашнев.

— Да. Вот,—буркнул Дерябин.—А тебе стыдно! В твои годы я понятия никакого об усталости не имел... Факт! Тебе на войну если,—ни одна пуля не заденет. Японская пуля тонка, а ты еще тоньше... В России жить, дяденька,—ка-кой закал нужен! Ты... ты это помни! Выдержку нужно иметь!.. В Англии полиции—уважение и почет, а у нас—„пала-чи"! Пять пудов выжимаю, а кто это видит?.. Вот, видишь знак!—Дерябин проворно спустил рукав тужурки и показал белый длинный широкий шрам.—Мерзавец, вор один,—ножом сапожным! Кровищи сколько вышло!.. Зажило, как на собаке... Друг! Да, чтобы быть русским человеком,—колоссальное здоровье для этого надо иметь!.. Факт, я вам говорю!

VI

В двенадцать часов поднялся пристав и сказал:

— Погуляем... Я им вчера поднес дулю с перцем, этим новобранцам драным, теперь они уж вряд ли... Но все-таки... Культяпый!

И, должно, быть-уже дремавший где-то Культяпый, прибежал, маленький, седенький, жмурый, и привычно помогал Дерябину одеваться.

Хорошая была ночь: безветреная, месячная, теплая. Приятно было, что дома тихие и небольшие и что от дома к дому идут невысокие заборы, теперь какие-то резиново-упругие на вид. А кое-где попадались старые белые хаты под камышом, и хороши были на палевых стенах синевато-черные резкие тени от нависших крыш.

Все шли медленно: и Дерябин с Кашневым, и солдаты сзади. Под ногами был сырой песок, и от нестройного шага многих ног земля чуть-чуть бунела. Пахло палыми листьями акаций, а деревья, голые, стояли сквозными рядами вдоль улицы, и тени от них были чернее, чем они сами.

Дерябин говорил вполголоса:

— Я им вчера показал,—будут помнить!.. Сразу теперь не тот коленкор. Вчера мы их как в капканы, мерзавцев, ловили... Ты, Митя, охоту любишь?

— Охотился когда-то... мало: местность была такая, что кроме сорок ничего.

— Вот я охотился на своем веку,—гос-споди, спаси благочестивые! Люблю это дело. И вот на крупную рыбу тоже. Я ведь с Оки, сомятник! У нас сомы такие,—гусей глотают. У меня, когда я еще мальчишкой,—патрон был по рыбной ловле, Завьялов, чиновничек... пьянюга, старикашка, черномор, сухонький этакий, маленький, черный, как жучок, глазастый, а жена—высокая дылда, смирнейшего звания баба, так он ее—так не достанет,—с табурета по щекам лупил, факт!.. Пойдем с ним на зорю в ночь, как начнет возле костра рассказывать,—чорт его дери! Чего с ним только не было!.. Теперь-то понимаю, что врал, а тогда как опишет!.. „Сомы, — говорит, — какие теперь сомы! В два пуда поймают, ох—сомина велик! А вот мы раз,—я еще в уездном учился, как поймали в омуте сома—шишнадцать пудов одни зебры!“ Тамбовец был, а у них—тамбовцев, у них шишнадцать кругом... И как его везли четверней, и как народ шарахался, живо описывал... И ведь я ему, черномору, верил, чорт его дери!..

Засмеялся Кашнев, и Дерябин захохотал насколько мог тихо.

— Сомы так на полпуда,—они даже вкусные, если их жарить,—ты едал? А дальше уж там—лошадь... так и прет лошадью, татарской лопаткой... А вот посмотри,—перебил себя Дерябин, направив руку куда-то над крышами домов:—или это у меня очки запотели,—видишь над трубами свет?

— Светится,—сказал, присмотревшись, Кашнев

И не только над трубами: и над коньками, и на ребрах крыш и на деревьях вдали колдовал лунный свет, все делал уверенно легким, убедительно призрачным. Должно-быть к утру готовился подняться туман и потому так как-то особенно теперь все светилось.

Пристав шел легко. Форменная тонкая круглая шапка делала его, тучного, остроконечным, и у Кашнева появилась четкая строевая походка.

— Сам я—рязанец, -говорил Дерябин.—На Оку попал,—было мне лет десять тогда. Утро было и туман, а через Оку—на пароме нужно. Подъехали мы на тройке,—другого берега не видать. Ширина такая оказалась,—волосы поднялись. Море! Море я на картинках видел, и вот, значит, теперь Ока... Море! Хожу по берегу колесом. Въехали на паром, честь-честью... Не пойму ничего: куда едем, как едем... Спросил еще, сколько дней будем плыть? А мужичок такой один мне:—Минут десять, минут десять... Шут-ник!.. Скрип-скрип, скрип-скрип,—взяли да и ткнулись в берег. Берег, все как следует: кусты и песок и кулики свистят! Ревел я тогда: обидели мальчишку! Думал море, вышел туман... Стой,—что это? Кричат или так?

Остановился пристав, и Кашнев, и солдаты.

Прислушались направо, налево,—нет, было тихо.

—То-то родимые! Я знал, что уймутся, чорт их дери!—сказал Дерябин, взяв под локоть Кашнева, и добавил:

— Ну-ка, пойдем сюда недалеко,—угостят нас вином бессарабским.

— Куда еще? Да и поздно,—остановился Кашнев.—А солдаты?

— Подождут. Эй, старший,—обернулся Дерябин.—Улицы обойти. Через час на этом месте, чтоб... Ма-арш!

Усиленно затопали и пропали за углом солдаты, а Дерябин перелез через какой-то полуразоб-

ранный тын, сильно захрустел раздавленным хворостом и скомандовал Кашневу:

— Гоп!

Потом пошли огородом, заросшим лопухами, потом были какие-то безлистые деревья,—кажется груши,—и около длинного, низкого, грязного,—и луна не могла отмыть,—дома остановились.

Дом спал. Наружные ставни были заперты болтами. Черепичная крыша с угла обилась,—чернели впадины.

Постучал в двери пристав, кашлянул во всю грудь.

В щели ставней мелькнули желтые полоски и тут же потухли, потом опять мелькнули кое-где и опять потухли.

— Отсырели у анафемы спички, — буркнул Дерябин.

Женский голос робко спросил за дверью:

— Кто это?

— Я!—крикнул в нос пристав.

Женский голос визгнул протяжно.

— Ну, завизжала!—Дерябин нагнулся к двери и недовольно проговорил отчетливо:—Мадам Пильмейстер, не пугайтесь,—это я: пристав.

— Нехорошо... Спали люди, а мы булгачим,—сказал было Кашнев, но тут же поспешно отворилась дверь и женский голос был уже преувеличенно радостный, когда кричал кому-то внутри дома:

— Роза! Мотя! Не бойтесь, пожалуйста,—это сам наш господин пристав!.. Ведь я же знала, честное слово, знала, господин пристав, чтобы мне на свете не жить, знала, что вы придете!

VII

В таинственной, довольно большой, но низкой комнате, освещенной дешевой лампой под красным бумажным колпаком, было тесно глазам от диванов,

мягких кресел, цветных гардин, тяжелых скатертей на столах и ковров под столами. Но вся эта мягкота была старенькая, грязноватая, разномастная; подлокотники кресел и диванов сильно лоснились, скатерти были закапаны и заплатаны, ковры вытерты, и от всего кругом,—казалось, даже и от сырых стен и из-под пола шел густой, тяжелый, мочальный запах. На стенах висели какие-то картинки в узеньких рамках,—казалось, и они пахли чем-то противным. Из этой комнаты куда-то в темные недра дома вело трое неряшливо закрашенных охрой дверей, и чуть приотворены были их половинки. Представлялось Кашневу, что там были еще какие-то люди, такие же таинственные, какими были в его глазах Роза, Мотя и старая толстая еврейка, впустившая их с Дерябиным, и не мог он понять, зачем зашел сюда Дерябин.

Понимал смутно, когда глядел на Розу, рядом с которой сидел пристав. Лампа стояла на столе перед ними двумя и от красного колпака горели в больших зрачках Розы пурпуровые точки. Одета она была в какой-то ярко-желтый капот, с вырезными рукавами, обшитыми кружевом. Кое-где наспех подоткнуты были темные волосы, и вся на виду была длинная шея и чуть выступали бугорки ключиц. От колпака должно-быть, щеки ее казались нежными, розовыми, очень молодыми, и губы яркими. И, наклоняясь к ней со стаканом красного вина в огромной руке, говорил Дерябин:

— Ну-ка скажи скороговоркой: шел грек через реку, видит,—в реке рак; грек руку в реку, рак в руку греку: вот тебе, грек,—не ходи через реку... Ну, сразу, гоп!

— Грек... Грек через рек... Ой, боже ж мой!— всплескивала Роза обнаженными до плеч руками.— Я не могу!

И смотрела на Дерябина, подперев щеку, улыбаясь сдержанно лукаво; в длинных черных ресницах прятались что-то знающие глаза.

Пристав разделся и был в тужурке, но не снимал шинели Кашнев. Думалось, почему Дерябин здесь, как у себя дома, почему он сам до сих пор не ушел, а сидит и смотрит и слушает, и еще,—когда глядел на старуху с большим носом, отвисшими щеками и льстивым взглядом,—обидно было за человека и жаль его. Но старуха хлопотала около него добродушно и настойчиво, подставляла вино, яблоки, орехи.

— Выпейте вина-а! Не хотите нашего вина выпить? Пи-или? И никогда нельзя поверить, что вы что-то там такое пили... Такой молодой, и уж офицер!.. Ну, может, вы бы яблочка съели, а-а?

И Кашнев, чтобы не обидеть ее, старательно чистил ножом и медленно жевал антоновку, твердую и кислую.

— Люблю женщин!—гремел тем временем Дерябин. — Не какую - нибудь одну, а всех вообще!.. Вот только жидовок терпеть не могу, нет, чорт их дери! С ними целоваться нельзя,—чесноком пахнет!.. От Розы чесноком несет,—ф-уу, гадость, Роза!—Он обнимал ее близкими глазами, чуть прищурясь, улыбаясь, как улыбаются детворе.—Митя! Правда, она—на черкешенку? Есть сходство? Не замечаешь?—Факт! Мадам Пильмейстер, признайтесь,—вы ведь тогда на Кавказе жили? Не то, чтобы вы добровольно, а он вам башка кынжалом хотэл рэзать, — факт!.. Эх, народ бравый! Красавцы! Ингуши у меня под командой были,—полсотни,—шашку мне подарили с надписью: „Лубимому начальнику“... Я тебе не показывал, Митя? Цены нет,—шашка!.. Перевертели девицам головы, — как воробьям! Шесть гимназисток с собой увезли в аулы... по соглашению, не то что силой. Отцы-матери бурю

подняли, всю полицию на ноги подняли, а те домой итти не хотят: привыкли,—факт.

Мотя, брат Розы, должно-быть не старый еще годами, но очень старый и скорбный лицом, сидел в углу один, глубоко упер в пристава чахоточные глаза, молчал, иногда покашливал глухо. Иногда он хрустел пальцами, перебирая их по очереди все на правой руке и все на левой; проверял, все ли хрустят:—все хрустели.

— За неимением гербовой пишем на простой,—так, Митя?—кричал Кашневу пристав.—Но-о... костюм черкесский я тебе привезу, Роза,—факт! Тюбетейку с жемчугами, черкеску с патронами, папаху белую, а?.. Красные сапожки, чорт их дери, и кинжал за пояс, честь-честью! А на сапожках каблучки вот какие,—четверть! Ну-ка, встань!.. Ровно на голову будешь выше, дюша мой... Розочка, выпей вина!.. Не хочешь? Э-то что значит? Как не хочешь? Сейчас выпить! Ах, ты... тварь!

И Дерябин, сопя и кряхтя, захватив правой рукою как-то всю целиком желтую Розу, запрокинув ей голову, старался заставить ее выпить, но мотала хохочущей и визжащей головой Роза, отбивала стакан сжатыми зубами, обливала вином тужурку пристава и скатерть и свое канареечное платье, и испуганно всплескивала руками мадам Пильмейстер:

— Роза, Роза! Что ты себе позволяешь такое, Роза! Это ж вино! Это ж не отмоется, Роза!

Кашневу виден был весь тонкий профиль Розы: с горбинкой нос, острый девичий подбородок, не то обиженный, не то лукавый глаз, полуприкрытый ресницами, и неровный блеск на отброшенных назад волосах.

Странно: небольшая, тонкая, гибкая рядом с огромным приставом, она казалась Кашневу древней, а Дерябин вдруг каким-то недавно родившимся,

до того, молодым, и даже вид у него теперь был растерянный, детский: что-то дрожало мелко около губ.

И в недоразлитый еще стакан осторожно бросил новенький золотой пристав, просительно посмотрел ей в глаза и сказал тихо:

— Выпей, Роза.

— Нет!—закачала головой Роза.

Еще золотой бросил пристав в вино:

— А теперь, Роза?

— Нет!—и раздулись ноздри.

— Что она думает такое!—визгливо крикнула мадам Пильмейстер:—Девчонка!

Она подступила было к столу, бесстыдно-безобразная, но тут же отодвинулась снова, отброшенная упругими большими яркими глазами Розы. И когда Кашнев поймал этот гордый и тоже древний взгляд, в нем самом как-то шире стало и беспокойней.

Мотя на своем стуле задвигался и закашлял; он изогнул винтом и длинную шею, и все сухое тело, чтобы лучше видеть и от волнения кашлял глухо.

Еще бросил в стакан золотой и улыбнулся вопросительно углами губ Дерябин, и также отрицательно улыбнулась углами губ Роза. Тогда медленно из кармана тужурки достал он небольшую коробочку, надавил кнопку; отскочила крышка, блеснули синими искрами камней золотые серьги, И также медленно, точно сам любуясь ими:—опустил в стакан Дерябин сначала одну серьгу, потом другую. Смотрел на серьги, на вино, на Розу, и какая-то непонятная борьба шла между ними:—хотя все попрежнему была захвачена огромной рукою пристава Роза, впилась в него широким взглядом, видно было, как трудно дышала.

А за окнами ночь была. Горели пятна красного абажура и желтого платья Розы, у мадам Пиль-

мейстер отяжелели и нос, и щеки и толстые груди, и живот, и концы теплого платка, который накинула на плечи впопыхах, когда отворяла двери; и Мотя кашлял. Сначала закашлявши от волнения, он теперь кашлял затяжно, самозабвенно, согнувшись и приложив обе руки к чахоточной груди. И это среди тишины, когда колдовали древняя Роза с Дерябиным и когда Дерябину,—так Кашнев подумал—дороже всего была именно тишина.

— Т-ты!—сдержанно крикнул на Мотю пристав, чуть повернув голову.

Кашлял Мотя, не мог остановиться.

— Во-он! Вон пошел!—побагровев, заревел пристав.—Во-он, ты... овца! Убью!

Что-то было разорвано,—тонкое какое-то кружево. Смаху отодвинув в сторону Розу, схватил правой рукою стакан Дерябин. Закричала что-то мадам Пильмейстер, бросаясь к Моте. Вскочил Мотя и, все еще кашляя глухо, кинулся в темную половинку дверей, но вдогонку ему швырнул стаканом Дерябин. Через голову Моти перелетел стакин; где-то в темноте другой комнаты засверкали тонко стеклянные брызги; потом еще что-то глухо упало на пол и покатилось, должно-быть, медный подсвечник.

Поднялся Кашнев, подошел к Дерябину, спросил тихо, дотронувшись до его локтя:

— Ваня, ты пьян?

— И чтобы к чортовой матери он ушел с кашлем, поганый харкун!.. И двери закрыть!—кричал, не глядя на Кашнева пристав.—Убью, если увижу!

Лицо стало твердое, сжатое, ястребиное, и у мадам Пильмейстер, навалившейся спиною на закрытую дверь, за которой скрылся Мотя, сами собою испуганно поднялись жирные руки.

— Господин пристав! Ну, ведь он же больной!—беззвучно шептали губы мадам Пильмейстер.

— Он—больной, да!—резко повторила Роза.

Повернул к ней голову пристав и долго они смотрели друг другу в жаркие глаза, как враги.

— Ваня, пойдем-ка отсюда,—ты пьян!—с серьезной и несколько брезгливой нотой в голосе,—нечаянно такой же брезгливой, как у Абрамова,—требовательно сказал Кашнев.

Сдержанно, длинно сопя, пристав переводил круглые глаза с одного на другого из этих трех. Мотя все еще кашлял придушенно, должно-быть, в подушку... А за окнами была тихая ночь.

— Митя, ты черкесских песен не знаешь?—спросил неожиданно Дерябин.

— Нет,—недовольно ответил Кашнев,—не знаю.

— Ни одной? И мотива не знаешь?.. А меня ингуши... то-есть они не учили, я сам перенял... у меня ж слух!.. Слова, может, и перевру... вот!

И Дерябин тут же, медленно сгибая спину, сел за стол, весь освещенный лампой, сделал странное, задумчивое лицо, старое, ушедшее вглубь, выкатил белки, полусжал зубы и запел узким птичьим горлом, как поют на востоке. Звуки были высокие, длинные, с перехватами с дрожью, и слова какие-то закругленные, в роде: „Саля-яим баль-я—им, як-ши-и...“

Было странно Кашневу видеть, что вот нет уже прежнего молодого пристава. Теперь он сам древний рядом с древней Розой. Медленно вращает большими красными белками близоруких глаз, а возле губ откуда-то выползли и легли восточные скорбные складки, и дряхло качается голова, точно поспевая за уходящими куда-то звуками,—вправо, влево, вверх. То сожаление о чем-то, что никогда не придет больше, то испуг перед чем-то, чего не поборешь, что всегда сильнее, и тоска,—такая холодная тоска, будто все тело не

тело, а узкий погреб, и его медленно набивают зеленым февральским льдом.

Сухие картинки смотрели со стен, как вдовы в салопах, и у разномастной мебели был воровской распутный чужой вид, точно натащили ее сюда ночами из каких-то темных притонов, и у красного бумажного колпака было что-то наглое в цвете и в том, как он сидел набекрень на лампе;—но шла тоска из широкоплечего дюжего тела Дерябина, старая, от древнейших времен по наследству доставшаяся тоска, и заволакивала и картинки, и мебель, и абажур, и самого пристава в его форменной тужурке, и страшное в его старом безобразии лицо мадам Пильмейстер, и яркое в молодой непримиримости лицо желтой Розы.

Может-быть, были и не те слова, как они долетали до слуха Кашнева, и неизвестно было, что они значили эти слова, но захлестывали как крепкие веревки,—не разорвешь,—и уходила комната, и глаза у Дерябина были далеки и влажны, ушли в старинное...

А за окнами была ночь.

— Ну, гоп! Не хочу больше!.. Аристон, Роза! Заведи аристон,—танцовать будем!—перебил себя на полуноте Дерябин.—Гоп!

Снова запахло дымом, антоновкой, табачным дымом... И удивленный, увидел Кашнев, как легко, по-птичьи, послушно подскочила к аристону Роза и преувеличенно шумно и суетливо принялась крутить ручку.

Танцовали. Звуки аристона были хриповатые и с какими-то зацепами, остановками некстати, и с жеманностью, и недовольным рычанием, точно не машина, а кто-то живой.

Пузатые кресла и столы разметал пристав, чтобы было просторней, и тяжелый, тучный, рядом с тоненькой Розой танцовал неожиданно легко и

красиво. Аристон играл какую-то старенькую польку, и сам был старенький, и все звуки, жившие в нем, тоже полиняли от времени, и беззубо шепелявили, а пристав и Роза были молодые, и побежденно жалась к нему она, еще так недавно лукавая, так недавно гордая и древняя и гневная, жалась доверчиво, забывчиво, отданно; смотрела на него снизу, а глаза были застенчивые, пунцовые.

И когда оборвал вдруг аристон на низком жужжащем звуке, Дерябин тоже оборвал было танец, бегло посмотрел на аристон, на Кашнева, на старуху, и опять с места взял тот же темп, сделал еще один лишний, ненужный тур до дверей с раскрытой половинкой,—не тех, за которыми кашлял Мотя, — других—протискался в них, пропустив вперед Розу, и захлопнул с законченным стуком податливое дерево, неряшливо окрашенное охрой.

И здесь, в большой комнате, стало тихо и пусто. Недавно хмельной Кашнев стоял теперь отрезвленно ясный, а против него, близко к красной лампе стояла старуха. Там была вся, за дверями, но стояла здесь с низким старым лбом, обвисшими щеками, добродушно толстая, в теплом платке, и пугливо растерянно, глядя на Кашнева, улыбаясь даже, говорила громко, громче, чем нужно было для двоих в пустой комнате.

— Такие молодые, и уж офицер,—ну, скажите! И вы, должно быть, даже приезжий, а то бы я знала... Мы давно тут живем, я тут всех-всех знаю... Ну, может, кого и не знаю... Роза тут родилась даже... Господин пристав, — он вспыльчистый, а он человек добрый, я даже это хорошо знаю...

И так как в это время из комнаты налево донесся вдруг придушенный визг Розы, — старуха как-то вскинулась вся и заговорила с ѣша, тоже визгливо, крикливо, сбивчиво:

— Даже мужа, Арона, обещали господин пристав из тюремного замка отпустить, как он же не подделывал векселя, пусть так мне на свете жить— и у нас на это свидетели есть... Это ж известное дело всем, что его запутали...

И так как в это время из комнаты справа послышалось,—кашлял Мотя, то вскинулась снова мадам Пильмейстер, и теплый платок спустился с плеча и трепался на полу концами:

— А Мотя,—он даже и не здесь живет,—он в Гайсине, в городе Гайсине, в Подольской губернии... А здесь он... ну, вы понимаете же,—он больной! Как он может содержать шесть детей? Он может работать? Он же в постели лежит!.. А она, мерзавка... Он же был женат, хорошо,—жена умерла чахоткой, две крошки остались,—их нужно одевать, покормить... А она, мерзавка: „Ты на мне женишься, —я им буду мать, а что три у меня своих, они уж большие и на разных отцов расписаны... Когда в субботу придут,—что они тебе помешают?“ Как в субботу они пришли трое, так и остались... Да еще есть шестое промежду ними... А что Яша из запасных солдат убежал, то я ведь этого не знаю, может, он уже где в Америке...

— Я вот что... Я выйду на улицу,—запинаясь сказал Кашнев:—У меня там солдаты и вообще... надо посмотреть... А пристав нас найдет, когда выйдет... вы ему передайте... Прощайте.

На лунном свету переливисто блестели безлистые свежие деревья, дальше в огороде четко чернели кочерыжки, и пахло теплою прелью, тихой сыростью, ноябрем. Забор в стороне был досчатый, мягкий, и серебрились щетинкою гвозди в верхней доске... „Ну его к чорту, этого пристава, и все... Я возьму солдат и уйду“,—подумал решенно Кашнев. И пока шел злыми, слитыми с землей шагами, то так и думал все: „Возьму солдат и уйду“. Зло

захрустел хворостом тына, упруго вышел на улицу, —огляделся,—не было солдат. Только теперь услышал, как много было собак кругом,—близких, дальних, совсем далеких: тепло их лаем кишела ночь.

Кашнев прошел было по улице вглубь, потом вернулся; с перекрестка услышал тихие голоса в переулке: мирно ожидали солдаты, рассевшись на широкой завалине мазанки и на кривых тумбах.

— Ну, что, никого? Тихо? — спросил они, не дожидаясь, что ответит старший, добавил зло: —Пристав этот!.. Беспокоит попусту, чорт его дери!.. Тоже наряд придумал, болван!.. Домой идем! Стройся!

Построились. Вздвоили ряды.

Была досада на пристава, но—откуда это?—бок-о-бок с нею такое странное любопытство к нему: что он теперь?

— Митя-я... Гоп-гоп! — зычно закричал в это время из глубины переулка Дерябин.—Гоп-го-оп!

Кашнев тронулся было итти с солдатами, но шагов через пять нерешительно остановился и солдатам недовольно вполголоса скомандовал: стой! А когда подходил пристав, сказал ему, покачав головою:

— Какой же ты, однако, удав!.. Какой удав!

VIII

И опять, как прежде, шли по улице Кашнев с Дерябиным и солдаты. Луна заходила, стало темнее, ближе к рассвету. Штыков сзади не было видно,—не блестели. Шаги тупо уходили прямо в землю.

— Вот... Человек себя жалеть не должен,—говорил медленно, точно сам с собою, Дерябин.—А раз только начал жалеть,—значит шабаш, крышка! Не сейчас, так в скором времени ему крышка, аминь. Человек себя чует,—факт!... Человек веселый,—да ему — куда ни шагай, везде — наше нижайшее,—

а заскучал, значит, рыбий крючок проглотил. Так?

— Ты к чему это?—спросил Кашнев, и так как ярким желтым извилистым пятном заколыхалось перед ним вдруг платье Розы, то он добавил:—У тебя что с ними, с Розой?—Извини, что спросил.

Дерябин посмотрел на него, задержав шаг, чмыхнул и ответил спокойно:

— Э-э, жиды!

И тут же, точно внезапно вспомнив вдруг, начал он рассказывать длинный еврейский анекдот. Потом пока шли от дома Пильмейстер по улице, рассказал еще четыре анекдота еврейских, два армянских и один малороссийский.

Ой да-на-а-ле-тилы гу-уси
З дале-ко-о-ого краю-ю...

Откуда-то издали это медленно воровато прокралось в ночь. Голос был молодой, высокий, покрывал собою гармонику, но проступала под ним и гармоника, как под тонким зеленым листом проступает на солнце схоронившийся с тылу жук. Ожила и осмыслилась ночь и собралась вся в кулачок к тому месту, где пели.

— Есть!—довольно и значительно сказал остановившись пристав. Отстегнул пуговицы у ворота тужурки. Поднял руку,—остановил солдат. И, странно было, но Кашневу почему-то показалось это тоже каким-то желанным, как желанна бывает охотнику случайно налетевшая дичь.

И как раз еще о гусях пел высокий полумальчишеский голос:

Ой-да за-му-ты-лы во-о-оду
В ти-хо-му-у Дунаю.

И еще два голоса пристали к нему: один озорной, шалопайский, с подвыванием не в тон, другой

добросовестный, старательный, только несмелый, грубый и сильный:

А бода-ай ті-іи гуси-и-и
З гильечко-о-ом пропалы.

— Эх, не доносит, подлец!—вполголоса выругался пристав и тут же добавил:—Малороссийские песни, а мотивы знаешь чьи? — Турецкие, — факт, —из турецкой неволи вывезены.

Впереди на пути у тех, кто пел, стоял водопроводный бассейн. Шикнув и согнувшись в полупрозрачной ночи, протащил Дерябин за собою гуськом, как выводок, Кашнева и солдат к этому бассейну. Грязно здесь было, топко как в болоте, конюшней пахло, и солдаты присели на корточки, подобрав шинели, но довольны были и они, что сидят в засаде, шутили глухо над певунами, нетерпеливо ждали,—вот подойдут. Вместе с песней вспыхивал все ближе—ближе, собачий лай.

Видно их стало: шли трое, гармонист в середине. О гусях пропели уже все до конца, но не хотелось, должно быть, расстаться с напетым мотивом. Тихо, чтобы разлиться потом во всю, начал средний снова:

— Ой да на-а-ле-тіл-ы гу-у-си-и
З да-ле-ко-о-го краю

И лихо подхватили двое других, равняясь с бассейном:

— Ой-да за-му-ты-лы во-о-о...

— Держи их!—бросился на перерез пристав.

Кашнева точно подбросило за ним. Торопливо шлепая по грязи, вперебой, табуном отовсюду как в атаку кинулись солдаты... Певуны ахнули, отшатнулись, стали.

Пожалуй и незачем было Дерябину расстегивать верхние пуговицы тужурки: парни были—квелый,

хлипкий народ. Бил их пристав со всего размаха, —с правши и с левши. Двое упали сразу, третий с гармоникой еще держался, но со второго удара сбил с ног и его Дерябин. Куча сваленных парней барахталась в сыром песке. Чуть поднялся парень с гармоникой...

— Господин пристав! Это... за что же бьетесь?

— Мало тебе? Додать?

Пнул его сапогом в бок Дерябин, застонал парень.

— Будет вам, что вы!—взял пристава за руку Кашнев.—Зачем?

— Как? озадачился пристав.—Мерзавцы, воры, —по ночам орать!..

— Да ведь новобранцы... как же воры?—ответил Кашнев.

— Мы и вовсе не новобранцы,—плачущим голосом вставил кто-то из кучи:— Так, мы ребята здешние.

— Значит и воры! Еще лучше... Да здесь же все воры, скот!

— А вы нас ловили?—Воры...—поднялся было парень с гармоникой.

— Что так-кое?

— Вы нас не ловили,—по-пьяному упрямо повторил парень.

— Тты? Как смеешь? — изумленно и потому как-то тихо даже спросил пристав.—Как смеешь? Смеешь как?..

И Кашнев не мог его удержать.

IX

Привели в часть и заперли избитых парней в каземате. Солдаты ушли в казарму. Кашнев остался у пристава, где Культяпый постелил ему постель.

Долго сидел на этой постели Кашнев, молча глядел на Дерябина, который, сопя, читал и под-

писывал у стола какие-то бумаги, пил квас из графина, дымно курил.

Но вот пристав снял тужурку, остался в одной, крупно вышитой на груди рубахе, подошел к иконе, около которой горела лампадка, грузно стал на колени и начал отчетливо, громко читать молитву ко сну отходящих:

— Боже вечный и царю всякого создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми грехи, яже сотворих в день сей словом, делом и помышлением, и очисти, господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа...

Читал долго, потом прочитал еще две длинные молитвы, поклонился земно и встал с колен. А в это время разделся Кашнев, потянулся устало и лег.

— Ты что же это? Немолякой?—покосился на него Дерябин.

— Дда... отвык... давно не молился, — просто ответил Кашнев.

— Ты—человек ученый, юрист... тебе это, конечно, стыдно... — медленно проговорил Дерябин, кашлянул, посопел и добавил:—А я—молюсь, прошу простить... Я, брат, ничего в жизни не понимаю, и потому молюсь.

Он покопался в столе, шумно выдвинув ящик, и достал фотографию; доставал как-то медленно, ощупью, и держал отвернувшись, поднося ее Кашневу.

—Вот, видишь... присмотрись хорошенько: мой сын Юра, девяти лет! Присмотрись!

— Красивый мальчик,—сказал Кашнев, искренно любуясь мальчиком—большеглазым, пухлогубым, с челкой, в суконной матроске.

— Умница был! Рисовал как!.. Всмотрись внимательно,—я еще не могу... Шесть недель назад от дифтерита умер: не могу смотреть... Он не при мне жил, то-есть не моя фамилия, и прочее, но-о...

только он мой был, настоящий... моей крови... Вот и спроси его, зачем умер.

Пристав стал у окна, побарабанил пальцем, потом, сопя, взял у Кашнева фотографию и, не глядя, спрятал в стол. Посвистал глухо и вдруг опять начал надевать тужурку отчетливо и решенно.

— Куда?—спросил Кашнев.

— Куда? Куда надо, куда надо, да куда надо! —скороговоркой ответил Дерябин; потянулся, оглядел правую руку, и Кашнев только теперь заметил на ней три массивных золотых перстня, должно быть таких же жестоких при бое, как кастет.

— Ты... в каземат?—спросил он несмело.

— Я их пощупаю, какие они такие ребята здешние,—раскатистым голосом ответил Дерябин, прикачнув головой.

— И охота!.. Ложись-ка спать,—поднял голову на локоть Кашнев.

— Я их прощупаю, здешних ребят!—повторил пристав в нос и с тою же металлической брезгливостью в голосе, какая была у Абрамова.

Кашнев медленно сел на постели.

— Знаешь ли что я тебе скажу, Ваня,—проговорил он решительно, но добавил как-то не в тон: —Ты ведь шутишь, что идешь в каземат?

— Как-к шучу? Зачем шучу?—зло удивился Дерябин.

Кашнев представил измятую солому на полу каземата и как на соломе валяются парни... и толстые перстни пристава... желтые перстни, желтая солома, желтое платье Розы,—мутно было в голове... И с усилием поднялся Кашнев, забывши уже, что он—прапорщик, и так, как лежал в постели, в одном белье подошел к приставу, улыбнулся ему и просительно сказал:

— Ваня, если ты идешь избивать до полусмерти этих—арестованных, то... объясни мне, зачем ты это?

— Воров?—спросил Дерябин.

— Какие там воры!

— Постой!.. Объяснить?.. Постойте-е!—отступив на полша́га высокомерно сказал пристав:—Вы —дворянин?

— Да, дворянин!—опешив немного, твердо ответил Кашнев, хотя был он сыном мелкого чиновника.

— Дворянин? Шестой книги?—Руку!—и чопорно пожал руку Кашнева Дерябин; потом, насупившись и отвернувшись в полоборота от Кашнева, он заговорил медленно, глухо, обиженно, обдуманно: выкладывал затаенное.

— Так как же вы мне... на улице... при исполнении мною обязанностей служебных... говорите под руку? Не замечание, конечно, но-о... вообще, суетесь?.. Так, что воры вас за полицмейстера принимают, а? Кто же и может вмешиваться в мое дело?—Полицмейстер, губернатор .. вы, собственно, кто?

Кашнев посмотрел удивленно на новое теперь расплывшееся, потное, с прищуренными глазами, ожидающее лицо пристава и сказал первое, что пришло в голову:

— Вот что... сейчас я оденусь!

И пошел к постели.

— Одеваться,—этого я от вас не требую!—крикнул Дерябин.

— Ничего вы не можете от меня требовать!—крикнул вдруг раздражаясь, Кашнев.

— Ничего? А по форме представиться извольте, ничего! Бумагу о назначении вручите! Приказание командира вашего эшелона,—ничего!.. А то я не знаю, с кем это я имею удовольствие в одной комнате, собственно говоря! Насколько это безопасно для меня лично!

Кашнев промолчал. Хотелось одеться скорее. Руки дрожали. Он даже как-то и не обиделся,

точно ожидал этого от пристава, но как в глубокие окопы, как под кованый щит хотелось стать ему под защиту мундира, новеньких офицерских погонов, кушака, строевых сапог... или просто хотелось только этого: чтобы не было Кашнева, Мити Кашнева, которому белье метила крупными метками сестра Нина, когда он был еще студентом последнего курса,—чтобы был Кашнев прапорщик, офицер такого-то полка, и тоже при исполнении обязанностей, как и пристав.

Кровь шумно раз за разом била в виски, и это слышно было сразу во всем теле, как короткое односложное слово: „Хам!.. хам!.. хам!..“ Но одевался Кашнев молча, стараясь не делать лишних движений и не слушать, как сопел, точно меха раздувал, Дерябин. И когда надел он наспех шашку, портупеей поверх погона, он уверенно сунул руку в боковой карман, так как ясно вспомнил вдруг, что именно сюда положил бумажку, и так, с бумажкой, сложенной вчетверо,—как раз пришелся сгиб на синей эшелонной печати,—Кашнев подошел к Дерябину и сказал вызывающе:

— Вот. Извольте!

Пристав стоял, грузно уперев левую руку в угол стола, правую заложив большим пальцем за белую пуговицу тужурки, наклонив голову по-бычачьи, настолько низко, насколько позволил прочный подгрудок, и выпуклыми мутными глазами смотрел на него исподлобья.

Бумажку он взял, протянул к ней четыре свободных пальца правой руки, но не поглядел на нее,—глядел в глаза Кашневу, не мигая, попрежнему мерно сопя.

— Я вас прошу прочитать ее при мне! Не угодно ли прочитать, а не прятать!—подбросил голову Кашнев, а голосом сказал не особенно громким, только подсушил каждое слово,—казенными сделал слова.

— Про-ку-рор будущий!—нараспев проговорил Дерябин, улыбнувшись глазами, а губы тут же он забрал в рот, чтобы не улыбнуться широко и полно, чтобы не засмеяться; от этого все лицо стало лукавым.

Как раз в это время закричал попугай в столовой. Его разбудили светом и голосами, и теперь он сердито трещал спицами, кричал и ругался, как выживший из ума злой старикашка.

А Кашнев прощупал в кармане колючий значок — и медленно, — нарочно медленно, — приладил его на груди и закрепил кнопкой.

— Командиру эшелона я подам рапорт... подробный рапорт,—сказал он опять служебно-четко; и так как Дерябин смотрел на него так же, как и смотрел, зажавши губы, улыбаясь глазами и не говоря ни слова, то Кашнев повернулся и пошел в столовую, куда падал через двери свет полосой, по этой полосе прошел в третью комнату, пустую и темную: нужно было найти шинель и фуражку, одеться и уйти, но никого не было в комнате.

— Культяпый! — крикнул Кашнев, невольно с таким же тембром голоса, как у пристава, и вдруг услышал: сзади раскатисто хохотал Дерябин. Даже как-то жутко стало от этого хохота.

— Митя! Прокурор!—кричал пристав.—Вот роль я как выдержал! Хорошо?— и заколыхалась сзади его сырая фигура, приволокла с собой кощунство, трущобу.

— Нет уж, будет! Ради бога увольте! Довольно!

Кашнев так был смущен этим новым изгибом пристава, что ничего не мог сказать больше,— только нижняя челюсть дрожала.

Культяпый высунул седую голову, прокатившись неслышно по полу,—неодетый, в одной рубашке, босой, маленький весь собранный в белый

комочек, похожий на какаду, догадался, что нужно, скрылся и тут же вытащил откуда-то фуражку и шинель; неслышно стоял с ними старенький, мигая глазами.

— Митя? Зачем?—умоляющим голосом сказал вдруг Дерябин, тихо взяв Кашнева за плечи:—с постели тебя поднял,—это глупо вышло... Очень глупо и в том каюсь,—прошу простить!.. Может-быть водочки выпьем, а? — Да не одевайся же, брось! Что ты? На чорта мне было в каземат? Да это ж я в конюшню хотел, — лошадь там больная, — посмотреть и только... факт! Ничего больше.

И, говоря это, он сжимал Кашнева все теснее,—мягко, плотно и жарко, и должно-быть мотнул головою Культяпому, или просто посмотрел на него выразительно: ушел куда-то Культяпый с шинелью.

— Нет уж, будет! И нечего мне ерунду эту... Я не мальчик!—старался как можно злее и резче выкрикнуть Кашнев, но странно,—не вышло.

— Митя! У тебя ж душа!—восторженно кричал Дерябин, поворачивая его незаметно опять к столу, с которого не прибраны были еще бутылки и консервы.—Вот вишневый ликер,—не хочешь? Даже и кофе можно сварить,—я сам сварю... Но, чтобы не отличить шутку от сурьеза,—простой шутки армейской,—Митя, как же ты так? Ведь сам служишь в армии!.. Я тебе спать не дал,—но-о... ты ведь выспишься дома,—ты молодой,—что тебе? Я вот сам третью ночь не сплю:—Бессонов!.. Митя! Если б ты знал, как мне моя служба опротивела! Ах, чорт же ее дери, если бы ты знал только!

Он насильно посадил Кашнева в мягкое кресло перед столом, сам, поворотившись оборотисто, вынес из спальни лампу и,—в то время, как Кашнев смотрел на него недоверчиво и нетерпеливо, все время порываясь встать и уйти,—говорил как-будто

даже и не пьяно, сердечно, искренно, возбужденно:

— Митя, ты вот честный, я понимаю, я не олух, слава тебе господи,—олухом никогда не был, но-о... у меня ж сила! Борцом в цирке, где угодно выступать могу и без упражнений безо всяких, чорт их дери! Куда сила идет? На кого? Я тебе перечту сейчас по пальцам, а ты слушай. Сила идет на воров, на мошенников, на мерзавцев, на прохвостов, на шваль, на цыган, на... на образа-подобия человеческого не имеющих, на грабителей, на сволочь неисчерпаемую, — двенадцатый палец,—на уличаемых, на предателей, на бродяг, на левых, но и на правых также, на пропойц, на укрывателей, на всякого вообще, который прячет, чорт его дери!.. Да ведь нет его, факт, нигде его нет, человека, которому прятать нечего. Всякий прячет, потому что — вор, а я—гончая собака, бегаю нюх-нюх—кусты нюхаю... За что осужден? А это и есть основа всех основ: воровать воруй, но... прячь! Прячь,—все киты здесь: тут тебе и социология, и генеалогия, и геральдика, и восточный вопрос!.. Митя, ведь честного дела этого, я его так ищу, как свинья лужи, уж сколько лет! На честное дело я на пятьдесят рублей в месяц пойду! Факт, я вам говорю!.. Вот тужурка, — видишь? Два года ношу, а уж на ней—всякая кровь на ней побывала за два года: и цыганская, и молдаванская, и армянская, и хохлацкая, и кацапская,—отмывал и ношу, нарочно не меняю, ношу. Да без этого (сжал он тугой кулак пуда в полтора весом) с этим народом да без этого,—тебя как нитку в иголку вденут босяцкие портки латать,—факт! У нас жестокость нужна!.. Строй жизни, строй жизни! Никакого строя жизни нет у нас, чорт его дери! Половодье!—телеги не вывезешь!.. У нас кости твердой нет, уповать не на что, понимаешь? Лежит и по

земле вьется, сукин сын, а встать не может. Как это нас вот теперь на Дальнем Востоке бьют,—ты подумал? Да скажи мне при начале войны, что нас будут без промаха, регулярно, без передышки, без останова чеканить,—так я бы за личное оскорбление счел, и капут, безо всякой бы дуэли капут!.. Митя, вот крещусь и божусь,—в случае насчет свободы если,—я в первых рядах пойду! Дай только с кем итти,—и пойду, опереться чтоб было на что-нибудь,—и конец, пойду! Потому что и мне, хоть я и пристав, нужно, чтобы было что уважать!.. И „отречемся от старого мира"—это я-то громче всех петь и буду:—у меня ж го-лос! (Крикнул так, что звякнули окна). Милый мо-ой! Да что же мне, кроме как приставом, и места нету? Да я всякого дела на своем веку переделал,—манеж беговой! И еще меня на сорок манежей осталось, факт!.. Приду и скажу: с потрохами берите, если годен,—брей лоб и на позицию рысью марш-ма-арш! Везде гожусь!.. Я? Я везде гожусь, милый мо-ой! И людей я могу школить так, что и они годятся,—возле меня дармоедов нет! У меня вон Культяпый, нянька мой, божий старик, а я и ему спать не даю, когда сам не сплю, верно!

И если бью я кого,—противно тебе,—то ведь, милый мой, ты юрист,—сам знаешь: кто сам не хочет, чтобы его били, того не бьют! Ведь даже и история вся, что она такое? Только и всего, что мемуары, кого и за что били, по порядку. Зря и людей не бьют. Бьет тот, у кого право на это есть. А что такое право,—это уж мне юристы говорили,—никто этого толком не знает: прав всяких много, а что такое право,—точно и ясно,—это вам, правоведам, неизвестно, факт!..

— Как неизвестно?—спросил было Кашнев, но тут же забыл об этом.

Вот что было:

Пристав говорил, а Кашнев чувствовал себя отдельно, его отдельно. Он еще раньше искал слова, теперь нашел: на него „хлынул“ пристав,—просто прорвал какую-то плотину и хлынул, и такое ощущение было, точно увяз по колено в хлынувшем приставе, как в чем-то жидком и густом. Теперь он не думал уже, что он—в наряде, на службе,—наряда не было и службы не было,—был только Дерябин. Роста он был огромного, плечист, полнокровен, лупоглаз, с осанистым бычьим подгрудком, говорил гулким басом немного в нос, и вот лился кругом и бурлил кудряво, как вода на быстрине,—только он, Дерябин, и не пристав даже, а просто Дерябин Иван, сначала Дерябин, а потом уж пристав, сначала сделает, а потом в слове „пристав“ найдет оправдание.

Теперь Кашнев был совершенно трезв, и все, что он видел,—он видел по-молодому ясно, и пустоту больших комнат ощущал так же отчетливо, как запахи: сургуча из канцелярии рядом, кислых консервов со стола, потного тела Дерябина — и не мог отделаться от представления: по колено угряз.

Утром была казарма,—вчера утром,—казарма, команды, желтая полоса солдатских лиц и металлический брезгливый голос Абрамова: „Я ттебя ббил?..“ Но только теперь, когда говорил Дерябин, всем телом понял Кашнев, что если бы не Лыкошин, один только он, старый, с бородою в комьях, державший винтовку как вилы, если бы он один невзначай не удержал в себе человека,—ушел бы и из него человек. И когда представилось это ясно всем телом, вдруг переместилось в нем что-то, точно переплыло, как кислое тесто из дежки куда-то вбок. Все стало напряженным, ночным и потому странным; глаза глядели на осанистого Дерябина с шевелящимися толстыми влаж-

ными губами и говорящими взмахами рук, а видели не его только, а другое: казарму. Выходил из-за его спины капитан Абрамов, невысокий, рыжий, сухой, с четким и твердым стуком закаблучий, и выходил трусливым увальнем Лыкошин. „Я тебя бил?“—„Никак нет, ваше высокоблагородие, не били!“ И вот опять сухой стук закаблучий, и прямо в его, Кашнева, глаза впились зеленые глаза капитана; момент,—и привычным движением,—ведь всегда на отлете правая рука, — бьет его по лицу сразмаху, спереди, где нос, рот и зубы. Даже откачнулся Кашнев и вздрогнул, так это представилось живо; но еще не все было в этом только, еще и спросил Абрамов и его, так же, как солдат, металлически брезгливо, в ровные формы вливая слова: „Я тебя ббил?“ И ответил он так же, как все солдаты: „Никак нет, капитан, не били!..“ И на голове у Кашнева замерли корни волос.

И так как единое, что возникло в нем вдруг теперь неопровержимо, как вера, была сила, простая, прочная, бычья сила, и так как прочен и силен был огромный пристав Дерябин, вот теперь рокочущий густым голосом, голосом площадей, а не комнат,—то встал Кашнев и внимательно прислушался к нему, осмотрел его молодыми глазами и сказал почти восторженно:

— Ваня! Ты... Ты прав, Ваня!

— Прав? Что? Так говорю? А?—радостно выкрикнул пристав, положив ему на плечи руки.

— Так!—твердо ответил Кашнев.—И что ты за свободой пойдешь,—этому верю! Верю! Потому что как же иначе?..

— Веришь?

— Верю, потому что... украли душу, ограбили, и у этих, у ограбивших, нужно ее обратно...

— Украсть,—подсказал Дерябин.

— Украсть, — повторил Кашнев,—иначе некого уважать и не за что.

— Выпьем?—серьезно показал глазами на неприбранный стол Дерябин.

— Выпьем,—серьезно согласился Кашнев.

— За воров будущих?—играя близорукими глазами спросил Дерябин, и Кашнев понял его и ответил, улыбнувшись:

— Да, за воров.

— Ура!—крикнул Дерябин во всю мощь объемистых легких.—И пойдет душу красть пристав Дерябин, а за ним воры!.. Ура!

X

— Митя,—спросил Дерябин,—невинность в тебе такая во всех щечках... ты как насчет женщин—вкушал?

— Нет,—ответил Кашнев.

Они все еще сидели за столом, хотя было уже часов пять утра,—чуть посинели, посвежели слегка белые занавески.

— Нет? Как так нет? Шутишь?.. Совсем нет?..— Даже рот раскрыл от удивления Дерябин.—Во-от!.. И с университетом ты что-то рано управился, ни одного дня не потерял!—Д-да!.. Ты—строгий. Должно-быть, в мамашу вышел... женщины,—они, брат, иногда даже игуменьями бывают,—случается, факт!.. Постой-ка, тут у меня альбом красавиц парижских,—я тебе покажу!.. Это... это...—заторопился пристав.

— Да не надо, зачем?

— Как не надо?.. Не надо!.. Тут такие две мамочки есть,—с ума сойдешь...—не надо!

И вытащил к лампе Дерябин истрепанный длинный альбом и тыча толстым пальцем в снимки голых женщин, приговаривал:

— Это ж раз удивиться и умереть, а?.. Нет, ты всмотрись внимательно, хорошо всмотрись!

Потом говорили о сестре Кашнева, Нине, курсистке, и о тех местах, где вырос Кашнев, где не было дичи,—только сороки.

— Нина в сестры милосердия поступает, в красный крест... на войну едет,—сказал Кашнев.

— На войну? Великолепно. Умно!—одобрил пристав.—Непременно там женишка подцепит,—замуж выйдет. Простого армейца не стоит,—с голоду помирать,—а вот ты напиши ей,—штабного академика чтобы... факт!

— Эка ты как-то, все этак...—поморщился Кашнев.

— Что? Плохо говорю? Не то?.. Митя, поверь: женщине, хоть бы она и сестра твоя и красный крест,—кто угодно,—ей только одно-единственное на свете нужно: мужчина... Факт, я вам говорю.

— Не лечь ли поспать?—поднялся и отвернулся Кашнев.

— Поспи! Ложись,—мягко втолкнул его в спальню Дерябин.—Ты ложись, а я только на больную лошадь гляну... Верховая, донец,—опоили мерзавцы—ноги пухнут.

И Дерябин вышел в сени, и потом слышно было, как протяжно с перехватами завизжал щенок.

Кашнев сел было на диван, где постлана была постель, потом привычно перестегнул портупею; в висках появилась тоненькая боль, как всегда после бессонной ночи. Думал о приставе, который хлынул вдруг весь отстоявшийся и свой и затопил под ним его землю. Но раздеваться почему-то не хотелось. Подошел к попугаю и разглядел внимательно его черный клюв, старые злые глазки и пышный хохол; пересмотрел еще раз альбом парижских красавиц. Вспомнил про шашку с надписью „любимому начальнику“, но на стене балдахином висело несколько шашек, из них три казачьих кавказского образца,—трудно было различить дареную. Вспомнил про

подарок пристава,—тульский наган и решил не брать его с собою. Сквозь ставни пробивалась полосками холодная утренняя синева, и от нее пожелтела лампа, и комнаты стали холоднее и как-то просторнее на вид, и листья фикуса сделались черней и сплошнее.

Прошел в канцелярию Кашнев, сам удивляясь своим шагам, звучавшим здесь по-чужому несмело. Тут же за дверью висела—он разглядел—его шинель и фуражка—красный околыш, первый полк. В соседней комнате блаженно посвистывал, как куличок, чей-то нос,—должно-быть, спал Культяпый. Есть уже совсем ничего не хотелось, но подошел к столу Кашнев и внимательно и долго разглядывал закуски, потом вытащил из коробки клешню омара,—пожевал и выплюнул. И когда захотел осознать, сделать ясным, почему не раздевается и не ложится он,—то прежде всего плавно заколыхалось перед ним канареечное платье Розы, с извилистым хвостом,—как она танцовала с приставом, а потом почему-то так же заколыхалась желтая солома на полу каземата... и захотелось выйти на двор части, подышать ранним утром, посмотреть больного донца, у которого пухнут ноги.

Кашнев надел фуражку, набросил на плечи шинель, двинулся было к сеням,—но навстречу опять завизжал щенок, бурно застучали двери, раздался Дерябинский рык. Отворилась дверь в канцелярию и прежде всего Кашнев увидел того высокого, тонкого парня, который играл на гармонике.

Дерябин толкнул его срыву, и он ринулся вперед головой и руками, точно в речную воду, и жестко упал на колени почти у самых ног Кашнева. За Дерябиным в дверях показался городовой, тот самый желтоусый, который вчера вечером ужинал щами. Фуражки на парне не было, и еще бросилось в глаза вчерашнее: красная слюнявая полоса сбоку около губ и дальше косяком по подбородку.

— Вот! Видал?—кричал торжествующим голосом Дерябин.—Ребята здешние!.. Вор, подлец,—меченый вор! Третий раз попадается!.. И гармонья краденая,—вчера же с окна где-то свистнул... Аxx, мерзавец!—и острым носком сапога ударил Дерябин парня в заляпанный подбородок. Визгнул и упал на спину парень.

Сквозь ставни просилось в комнату синее утро. От лампы плавал по комнате масляно-желтый тяжелый свет. В толстое лицо Дерябина влились мертвые тени. У парня залоснились черные волосы в кружок, проступили вдруг невидные прежде глаза под густыми бровями, поднялись на Кашнева.

— Ваше благородие!.. Господин офицер!..

И потом в несколько коротких мгновений Кашнев ощутил остро: сорвавшийся крик Дерябина, прочную руку, сжатую в кулак, круглый выгиб серой спины, рыжую полосу усов городового, парня, затопленного болью, холод, охвативший все тело.

Как был в накинутой на плечи шинели, Кашнев выскочил на двор, отбросив щенка ногой, окунулся в сырое мутное утро, по влажному песку двора чуть не бегом, обогнув крыльцо и чан с зеленой водою, бросился к калитке, и уже с улицы слышал, как кричал ему вслед Дерябин:

— А-а—сво-бо-да! Душу красть! Я ввам покажу душу! Я у вашей квартиры пост поставлю, знайте!.. Свобода? День и ночь постовой будет стоять! Я ввам покажу свободу!..

Кашнев остановился, было,—подумал: обида это, или пьян Дерябин? Надел в рукава шинель, вспомнил, что не взял кобур,—остался где-то у пристава вместе с его наганом, махнул рукою и пошел вдоль улицы.

Красовалась улица утренней тишиною.

Налаялись собаки за день, теперь и их не было слышно.

Ясный нарождался день; еще не приник к земле грудью, подходил издали, но уже было свежо и бодро. Широкие загребающие шаги делал Кашнев.

Город был для него новый; в этой части он никогда не был. Шел наугад, смутно вспоминая, как ехал вчера на извозчике.

Был ли на углу этот облезлый мазаный домишко с вывеской сапожника? И приходилось ли ехать по деревянным тряским мосткам через какой-то ров? И куда приведет эта длиннейшая глубокая синеватая, серая улица?—Решал и шел дальше, радуясь крепким четким шагам.

Влажному свету был рад, тому, как жмурились домишки, как теплая детвора, просыпаясь. У акаций были влажны колючие ветки, отпотели ставни, в-робьи звонко надрывались за заборами... У тоо-бассейна, где ночью была засада, уже стоял водго воз с бочкой и подрагивала кожей рыжая колчоногая лошаденка. А может, был это другой басе сейн, не тот,—все равно; пахло свежим утром, осенней ясностью, солнечным ноябрем.

Думалось о Нине,—не о приставе, а о Нине, ясноглазой девочке. Когда просила шоколаду, и не было,—топала ногою и кричала: „А я хочу!..“ Играла с мальчиками в индейцев, сильная, смелая и ловкая, и мальчики звали ее—„Храбрым портняжкой“. Теперь хочет ехать в Манчжурию. Отец уговаривает ее остаться, а она топает ногою и кричит: „А я хочу!..“ Полнокровная.

Не о Дерябине думалось; думалось о приокских лугах, заливных, зеленых, куда налетали вдруг серыми тучами гуси с какого-то далекого края. Или вдруг всплывали белые круглые формы голых парижских красавиц, одевались на глазах в желтые капоты, танцовали.

Утро свевало пристава, как темноту, куда-то сдувало его,—схлынул пристав; длинное, пьяное, дикое осталось, а пристав стерся.

Работали легко и дружно мелкие солнечные пятна,—рябили муть, открывались во всю красные влажные черепичатые крыши и синие трубы на них. Северянин был Кашнев, а в этих крышах и трубах таился все еще чужой для него юг,—солнце, юг, молодость. И чем дальше в утро шел Кашнев, тем меньше оставалось Дерябина. Встанет вдруг, как темная глыба, крякнет низами горла: „Милый мой-й-й! У нас жесткость нужна!“ И тут же разлезется, упадет, осядет. Хотелось, чтоб было только чистое, чистое все: небо—цельное, синее, воздух—ядреный, крепкий,—в чистом саду за окнами, где он жил,—чистый синичий писк, и чистое белье своей постели.

Чем дальше шел в утро, тем больше утро казалось своим. С кем можно разделить утро? Перед утром, молодостью, свежей силой—человек всегда один, не одинок, а только целен, один, наедине с собою. Смешным, как ночное, чем дальше, казался пристав. Так и думалось о нем: „Ах, пристав Дерябин, смешной пристав Дерябин“!.. Неистребимо длинной представлялась жизнь впереди и солнечной,—отчего? Оттого, может-быть, что глубока была улица, ласково освещенная?.. Ложились уверенно полосы красные и полосы голубые, первые—ниже, голубые—выше: земля и небо. Небо слоилось сквозь розовую муть, пахнущую сырой землей. Дробилась земля на цветные кусочки, сильные, чистые, сырые (днем выцветает земля). Желтые листья точно невзначай, окàпали встречные деревья. Кое-где трубы дымили синим... Выбежал из какой-то облупленной калитки густо обросший, каштановый кобелек, зевнул глубоко и посмотрел на Кашнева добродушно, по-стариковски, так добродушно, что Кашнев улыбнулся ему.

...Лошадиный галоп был слышен сначала откуда-то справа, потом на минуту замер, потом посыпался

следом за ним, приближаясь: на легкой утренней улице такой тяжелый скок. И когда уже близко было, и оглянулся Кашнев, увидел он,—на сером донце, пригнувшись неловко, скакал городовой с желтыми усами. Перешел на машистую рысь; подъехал: загарцевал на месте.

— Вот кобуру, ваше благородие, у нас забыли... Пристав послали отдать.

Протянул кобур. Невольно пощупал Кашнев, беря, есть ли наган: не было нагана.

Отфыркался донец, сбросил желтую пену с удил; топыром поставил острые черные уши; горбоносый, смотрел на Кашнева искоса, высоко и строго, как надутый Дерябин, переступал враскачку с ноги на ногу, пышал и дымился горячим потом, крутил завязанным в узел хвостом.

Похлопал его Кашнев по жилистой шее, круто от острой груди откинутой назад,—спросил:

— Это о нем говорил пристав, что опоили,— ноги пухнут?.. Не пухнут ноги?

— Нет, зачем опоили?.. Никак нет, справна лошадь.

Улыбнулся Кашнев. Смотрел в мелкие, серые красновекие глаза городового и хотел было спросить, когда успел пристав отобрать назад свой подарок— наган, потом другое, о парне,—но не спросил. Медленно вынул он записную книжку и написал четко по синим клеточкам: „За знакомство спасибо. Кашнев". Слово „спасибо" зачем-то подчеркнул, листок сложил аккуратно вдвое.

— Вот, передай приставу.

И потом, привычно надевая шнур и прилаживая кобур к кушаку, долго следил Кашнев, все улыбаясь, как мягко сверкали, откидываясь, гулкие подковы. Это был не галоп, а сбоистый, порывистый, горячий, играющий, издали красивый бег, когда силы накоплено много, и ее хочется разбросать щедро и

зря, как надоевшее богатство. Лохматый каштановый кобелек мчался около самых копыт, задыхаясь, лаял трудолюбиво, и дальше, из дворов, наперерез донцу прыжками, неслись две собаки: пестрая тонкая, изгибистая, как змейка, и угрюмая большая, гладкая, облезло-черная, с обвисшими старыми брыжами.

Ноябрь 1910 г.

Ближний

БЛИЖНИЙ

I

Чиновник одного из петербургских департаментов, Иван Петрович Чекалов, господин сухой, корректный, лет под сорок, представленный к производству в коллежские советники, тщательно выбритый, как артист, имеющий проседь на висках и освобожденное от волос темя, ехал в середине октября в вагоне второго класса в Петербург из Крыма. На курьерский поезд он не попал,—не было мест; поезд был почтовый, грязноватый, набитый битком, долго стоял на каждой станции,—это раздражало. В Крыму Чекалов не отдохнул, как думал; виноградом расстроил пищеварение и теперь чувствовал себя обманутым, желчным.

Он устроился наверху, но ночью совсем не спал, утром же его поминутно будили, так что даже и днем не хотелось подыматься. Читал газету, а буквы прыгали. И все, кто сидел внизу, казались чрезвычайно противны: и какая-то дама, очень черная, похожая на караимку, которая искала шпильку от шляпы по всему купе и ахала; успокаивалась на время, недолго сидела, сосредоточенно соображая, но вдруг опять, вскочив, начинала стремительно шарить по всем углам; и студент-технолог, какой-то весь молочный, белокурый, немецкого типа, с очень гладенько причесанными реденькими волосами и мутным цветом глаз; и старый седобородый кавказец, казачий офицер, с одной звездочкой на погоне и солдатским золотым георгием с бантом на бешмете.

Еще сидели, судя по видным сверху носкам калош, двое,—мужчина и женщина. У мужчины был пожилой степной сельскохозяйственный бас, а что женщина была молода и не безобразна, видно было потому, что в коридоре мимо открытой двери купе все прохаживался низенький прыщеватый жандармский ротмистр, поглядывал на нее косым влажным глазом и пощипывал белесый обкусанный ус. Но и эта невидная небезобразная женщина была противна Чекалову.

Зачем-то топили по-зимнему много. Вентилятор вверху не открывался. Было душно, сухо, неряшливо, шумно, тесно, и сильно пахло не то новой клеенкой, не то жженой пробкой, не то щенком.

Через открытую дверь видно было все целиком окно в коридоре, а в окно—поля. В окне, как в одной и той же раме, все менялись картины, и если бы Чекалов был художник, может быть, он бы и любовался этим низким, длинным, синим набухшим облаком, например, и ждал: а как оно пойдет дальше? А какой примет тон?.. Или эта речонка—какой она даст излом вот сейчас?.. А теперь к этому пару с сухим перекатиполем, ух, хорошо бы жирную, драную, сырую, черную пахоть в соседи!.. а ну?—Есть!.. Но Чекалову с этими клочками полей в окне скучно было, как с китайцами: все—немые, все с косицами, все—на одно лицо. По своей удобной петербургской квартире он тосковал и в Крыму: человеку за лампу и ванную он все-таки больше был признателен, чем богу за солнце и море. От неба он в Петербурге успел уже так отвыкнуть, что первый день в Крыму чувствовал себя даже как-то неловко: до того кругом чересчур светло и ясно, как-будто ты совсем и не одет, и тебя насквозь видно. В дороге ничего ни поучительного, ни просто любопытного он не видел, только одни неудобства, и думал, что со временем, когда поезда

будут ходить по 200 верст в час, так мило это будет: заснуть в Севастополе,—проснуться в Петербурге.

Фигуру он имел сытую, несколько намеренно ленивую; на крупном синем подбородке поместилась неожиданная круглая ямочка,—и это очень нравилось дамам. Его служебное положение теперь и в будущем и уменье устроиться тоже нравилось многим дамам, но на такую чересчур дорогую собственность, как жена, Иван Петрович пока не посягал. Он ценил два перстня на руке начальника отделения Юлия Адольфовича Эмерика; это была изящная работа и милые камни:—четыре топаза с рубином в середине и кошачий глаз. Одно время он любил меха: как-то один его сослуживец, переведенный в Сибирь, прислал ему красивую кунью шкуру,—с этого и началось. Теперь у него были четыре голубых песца, редкостные шеншиля, чернобурая лиса и белый волк,—все по случаю. Но меха надоели, и трудно было с ними. Потом он увлекся старинными камеями, которых не портила моль, и которые говорили о серьезности и прихотливом вкусе. Теперь его занимали перстни и набалдашники палок.

Конверты для писем он покупал какие-то уж очень необычайной выделки и, написав письмо и надушив его, долго думал над тем, как наклеить марку, чтобы вышло не по-казенному в правом или в левом углу и не по-мещански на заклейке, а на каком-нибудь совсем неожиданном месте.

Удивляться чему-нибудь он считал, конечно, дурным тоном; он и без того верил в широту человеческого ума и беспредельный размах натуры. Если же попадалось что-нибудь такое, что вообще и всеми считалось исключительным, то в таких случаях он умел невысоко и неторопливо поднять руку, шевельнуть большим пальцем, точно откупоривал пробку, и с весом произнести: „Да!.. Это номер!..“

Было мучительно жуткое в его жизни,—это когда он начал лысеть. Потом он свыкся с этим, конечно, как свыкаются все.

Когда же пришел к непобедимо ясному выводу, что мясная пища страшно вредит здоровью, круто перешел на вегетарианский стол.

II

В Курске дама со шпилькой вышла; мужских калош тоже уже не было заметно. Дама другая, небезобразная, живо беседовала уже в дверях купе с жандармским ротмистром, и ротмистр, изгибаясь, все хихикал, повизгивая, как дрозд. Студент и старик оставались: оба ехали куда-то дальше.

Чекалов смотрел вниз на старика с особой брезгливостью. Все в нем было ему противно: и его неопрятная шинель, и облезлая папаха, и нанковые шаровары, и желтые, может-быть, несколько месяцев нечищенные сапоги; и широкий крепкий рубчатый ноготь с черной каемкой на большом шишковатом пальце правой руки; и чин его... Что это значит,—одна звездочка на казачьем погоне?.. Штыкюнкер? Подхорунжий?.. Чекалов, вообще, не любил военных и всех, кто носил серую шинель, но подхорунжий этот, тем более, был какой-то перелицованный капрал; если бы он не был так стар и так грязен, то, пожалуй, мог бы служить курьером у них в департаменте.

Он и сам, этот старик, казалось, чувствовал себя не совсем ловко: он на всех глядел предупредительно и внимательно, молчал и всматривался, а глаза у него были большие, серые, в сухих морщинистых орбитах.

Раз как-то он вздумал заговорить со студентом: осматривая зачем-то свой длинный остро-отточенный кинжал, и заметив, что и студент смотрит с любо-

пытством на блестящее лезвие, сказал поспешно:

— Его и медведь боится!

— А-а, боится?..—Студент нагнулся поближе к кинжалу и протянул:—Вещица серьезная.

— Шашки не боится,—кинжала боится... Почему?—Сделал очень строгое лицо и добавил:—Лапами хватать ему нельзя,—вострый... И оттуда вострый, и отсюда вострый,—никак.

Студент помолчал и спросил:

— А вы откуда едете?

— Владикавказ!

— Гм... А куда едете?

— Петербург!

Студент кашлянул, замолчал и уткнулся в какую-то книгу, а старик долго смотрел на него вопросительно: не спросит ли еще чего-нибудь, ожидающе жевал губами, но, не дождавшись, принялся, точно дело делал, упорно глядеть в окно; и глядел долго.

Потом как-то около Орла он вздумал вступить в чужой разговор—небезобразной дамы в дверях и визгливого ротмистра в коридоре—о женах:

— Как это говорит жена: с мужем жить нельзя?.. Почему это нельзя?.. Ты посмотри эту нельзю, и оказалось,—никакой нельзи нет:—можьно!.. Тудысюды,—пощунял ее хорошо,—можьно!

На слове „пощунял" старик сильно сюсюкнул, и никто не понял этого слова, а дама, обернувшись, весело спросила больше студента, чем старика:

— Что-о? Послюнявил?—и, должно-быть, чтобы не рассмеяться, обратилась к старику:

— Вы мусульманин?

— Нет, православный!

Старик снял папаху, обнажив совершенно голый череп, высокий и вместительный, и, перекрестившись, добавил о себе еще:

— Я—осетин.—И пожевал челюстью.

Он браво оглядел всех, явно ожидая, не спросит ли кто-нибудь еще о чем-нибудь, но никто не спросил, и старик опять уперся глазами в окошко, а день был без конца пасмурный, мелко-дождливый.

Часам к пяти вечера стало уже заметно темнеть. Что старик целый день не ел ничего, это видел Чекалов. Теперь он развязал свой желтый, кожаный, похожий на ранец чемодан, опоясанный веревочкой, вынул оттуда кусок белого овечьего катыка, водку и серебряный стаканчик; чтобы выпить стаканчик, страшно разинул рот. Заел сыром, ворочая челюстью, как жерновом, потом выпил другой стаканчик, и третий. Чуть покраснел. Спрятал сыр и водку; вытащил пару попорченных яблок; угостил ими студента:

— Ешьте!

— Да нет, знаете ли,—я не хочу,—улыбнулся студент.

— Не хочу, не хочу,—как это не хочу?—Ешьте!—Серые глаза явно обиделись.

Студент, подумав, начал лениво и продолжительно чистить яблоко своим новеньким перочинным ножичком, а старик покачивал головою, следя за его белыми руками, сам же так страшно работал огромной челюстью, всюду по груди волоча и трепля бороду, что Чекалов даже отвернулся, гадливо зажмурясь.

В Туле дама перешла в купе к ротмистру, а к ним сел высокий длинноволосый, профессорской внешности, новый пассажир, седой, в тяжелой шубе и шапке.

На вокзале Чекалов обедал, а придя, не хотел уже лезть наверх. Он сел рядом с новым пассажиром и только придумал, о чем заговорить с ним, как подхорунжий, уже улегшийся и накрывшийся шинелью, поднял голову:

— Ты что же не ложишься спать, дед?

— А? Это мне?.. Ничего, я лягу,—мирно улыбнулся профессор.

— А ты ему освободи,—твое вон наверху место!—повернулся подхорунжий к Чекалову.

— Что?—удивился Чекалов.—Это... ты мне тычешь?

— Куда тычешь?.. Ты день-деньской спал, никто не мешал, а ты сел,—человеку мешаешь... Всякий спать обязан!

Чекалов подумал и решил на него не серчать: старый, глупый и пьяный.

— Спи себе,—сказал он брезгливо; он поднялся и обратился к профессору:—Располагайтесь, пожалуйста!—а сам вышел из купе в коридор.

— Да я не хочу!.. Да мне и ехать недолго,—всполошился профессор.—Куда вы?

Из коридора Чекалов невольно прислушался, не скажет ли чего подхорунжий, но, наведя порядок, старик только ворчнул что-то про себя, совсем невнятно, по-петушиному, и тут же залился бурливым храпом.

Войдя снова в купе, Чекалов долго говорил с профессором, оказавшимся управляющим большого подмосковного кирпичного завода, о последних новостях из газет, о морских купаньях и винограде, о ценах на кирпич прежде,—лет десять назад, и теперь.

III

В Москву приехали часов в десять. Выходя из вагона, Чекалов выпустил из виду старика, но, садясь на извозчика, он увидел знакомую серую шинель и черную папаху, белый угол подушки и желтый чемодан: все это проворно прыгало под дождем по мокрым, скользким камням мостовой к подошедшему вагону трамвая. И Чекалов подумал: „Экий старикашка ходкий!..“

В Москве Чекалову было как-то всегда не по себе: этого растрепанного города он не любил. Все, что напоминало здесь Петербург, казалось незаконно присвоенным, а что было свое, местное,— ему было решительно чужим: все эти трактиры вместо ресторанов, специалисты по шитью поддевок, пьяные городовые на постах, драные извозчики, Кремли и Трубные площади, Плющихи и Самотеки,—бог с ними!

Когда он приехал на Николаевский вокзал, от которого пахнуло уже близким Петербургом, не торопясь закусил у буфета, выпил пива, которое велел подогреть, чтобы не простудить горла, взял газету и уселся ждать поезда,—подошел подхорунжий, весь в свежих блестках дождя.

— А вы уже здесь?.. На извозчике?

Чекалов немного подумал, отвечать ему или не стоит, и ответил, не подымая глаз от газеты:

— Да, на извозчике.

— Ну, вот... А я на трамвае за пятачок! Небось, гривен шесть дали?

— Восемь.

— Во-семь?.. М-м... Ну, как это вы,—семьдесят пять копеек лишних!.. Очень жалко!—прищелкнул языком и закачал папахой.

Чекалов длительно и строго посмотрел на него, закрылся, раздраженно шурша газетой, и ничего не сказал.

— Нужно бы тут щец съесть, а?..—спросил несмело старик.

— Ну, и съешь!—сквозь зубы, зло бросил Чекалов.

Старичок постоял немного, поглядел кругом, застегнул шинель на все пуговицы и, бодрясь, пошел к одному из столов.

Ел он, перекрестясь и снявши папаху, съел все до последней капустинки, и лысина у него крупно

пропотела, но официант, рослый мужчина в густых подусниках, отнесся к нему без уважения, когда он уплатил за щи.

Потом Чекалов заметил, как старичок быстро поднялся и преданно взял под козырек, когда проходил мимо военный врач с малиново-красными отворотами. Врач только глянул на подхорунжего вбок. Минуту спустя, опять вскочил подхорунжий, —откозырял какому-то лесничему в зеленых отворотах; толстый и брюзглый лесничий несколько удивленно приложил к козырьку указательный палец.

Когда подан был поезд, и Иван Петрович пошел, пряча газету, за своим носильщиком, он увидел, выходя на перрон, как впереди его шагах в двадцати бойко шныряла в толпе серая шинель и над ней черная папаха.

Один только оказался в поезде вагон второго класса, и в среднем отделении, „для некурящих", они опять встретились, и старикашка обратился к Чекалову, как к хорошему знакомому, поощрительно:

— Что ж это вы запоздали?.. А я уже здесь. Вот место свободное,—эй, ты, носильщик!—и указал рядом с собою свободный диван.

Чекалов молча прошел дальше,—не хотелось со стариком, но везде уже толпился народ. Пришлось опять устроиться рядом с подхорунжим, который хоть и не курил, но носил с собой застарелый запах большого количества давно когда-то выкуренного табаку... От стариков вообще какой-то запах.

В полутемноте кондуктор, пришедший проверять билеты, разглядел только неказистый сапог и нанковые шаровары старика и, протягивая ему обратно зеленый билет, сказал внушительно:

— Вы—не в свой класс попали: перейдите в третий.

— Как не в свой?—старик вскочил и указал на погон:—Офицерский!.. Билет офицерский!

Кондуктор извинился и отошел.

— Вот слепой!.. Никогда этого не случалось... м-м... Как это?—обратился к Чекалову старик удрученно и обиженно, даже и губы вытянул, как делают дети. Чекалов сделал вид, что очень занят раскладкой постели.

За Клином старик уже храпел, а Чекалов никак не мог приспособиться к этому гурливому храпу; очень долго ворочался, очень часто поправлял подушку, а старика искренно проклинал.

Не заметил, когда забылся, наконец, но когда проснулся, было еще совсем темно,—чуть-чуть синело окошко; голова была мутная, болела в висках... Старик кричал буфетному мальчишке со станции:

— А?.. Чай—кофе?.. Это какая станция?

— Тверь.

— Тверь?.. А теперь какой час?

— Пять часов.

— Пять? Кто же ночью тебе, в пять часов, чай-кофе пить будет?—Эх, умный?

Мальчишка побежал дальше, выкрикивая: Чай-кофе! чай-кофе!—а старик ворчал возмущенно:

— Ночью—чай-кофе! Какие теперь чаи?.. Ночью!

— Да замолчи ты,—вот чорт окаянный!—осерчал Чекалов, даже поднялся на локте.

— Мм.. Какой теперь чай-кофий?—обратился к нему старик.

— Вы что меня разбудили, а?.. Зачем?.. Теперь уж я не засну,—вы понимаете?

— Меня разбудили, а не я! Мм... я!.. Как же так я? Бегает тут: чай-кофий!.. И как это допускают? А вдруг он что утянет?

И старик быстро подскочил нашаривать глазами свой рыжий, веревочкой подпоясанный чемодан. Нашел его и что-то еще проворчал.

Чекалов плюнул, повернулся к нему спиной, закрыл голову углом одеяла, а сам думал тоскливо: „Разве теперь уснешь?.. Теперь уж не уснешь... Экая дубина нетесанная!“

Так он пролежал с больною головою, ворочаясь и скрипя зубами, часов до семи утра, когда окна уж побелели. Озлобленно он думал, что теперь, после бессонной ночи, выпадет еще много волос, еще заметнее станет лысинка на темени, а между тем спать можно бы было, если бы не этот беспокойный старикашка, чорт бы его побрал.

Старикашка же, умывшись, расчесывал бороду металлическим гребешком,—направо и налево от подбородка,—веером. Волосы в бороде были толстые, плотно прикрученные один к одному, и жирно блестели, точно из серебра с чернью кропотливой кавказской работы. Причесав бороду, надел папаху, вынул из чемодана медный чайник с припаянным носком. Заметив, что смотрит на него Чекалов, сказал ему:

— Доброго утра.

Ничего не ответил Чекалов.

— Скоро буфет,—Вышний-Волочек какой-то... Кипятку возьму, чай пить. Теперь—время, а то—ночью. Ночью каждый человек спать обязан, а они —„чай-кофе“... Как можь-но!

— Э-э,—поморщился Чекалов и встал, и пиджак надевал он с такой досадой, что даже под мышками лопнуло.

Около уборной он долго ждал с полотенцем и мылом. Двадцать раз перечитал надпись на двери: „Просят занимать уборную не более 10—15 минут“. Смотрел на часы, озлобленно думал: „Нет категоричности,—вот в чем несчастие наше! Даже в пустой дурацкой надписи нет приказания, нет строгого тона:—„Не более 10—15...“ Нелепо. Не математично... И фраза какая-то нерусская и придумал ее какой-нибудь Шульце или Блох“...

Когда из уборной вышла наконец толстоносая перепудренная дама, с плохо сделанной роскошной прической из очень жидких рыжих с проседью волос, и Чекалов брезгливо умывшись грязноватой теплой водой, вышел на площадку, поезд уже подходил к довольно большой станции, и старикашка с чайником браво стоял уже у открытой двери.

Прямо против поезда с одной стороны торчал вокзал и была надпись: „Буфет 3-го класса", но кондуктор, проходя мимо старика с чайником, занято и привычно бросил: „Этот вокзал не действует:—с той стороны". До вокзала же с той стороны было далеко: какая-то длинная деревянная лестница, широкий помост и опять лестница...

— Пять минут, а?.. Можь-но успеть? — оглянулся на Чекалова старик, спрашивая серыми глазами.

— Успеешь!—тяжело глянул на него Чекалов.— Вы, приятель, везде успеете.

— Ну да, я—успею... Можно успеть!

И когда спрыгнул с подножек, вышло это у него по-молодому легко, и молодым петушком встряхнулся от прыжка золотой Георгий.

Чекалов остался на площадке и смотрел, как бежал с чайником по лестнице вверх старик; думал лениво: „дал бы проводнику пятачок,—нет, дурак, —бежит сам". Утро было сырое, серое. Кирпичный, бесформенный, как сарай, вокзал смутно краснел в капризном дыму от паровоза, и около вокзала чернели скучные пятна людей. Земля между рельсами была гнусная, грязная. Шныряли носильщики, на бегу сморкаясь. Спеша выбрасывали из багажного вагона вдали новые ящики с чем-то небойким. Провезли на тачке кожаные мешки с почтой, и проследовали за ними вразвалку два обшарканных почтальона в стареньком всеоружии. Среди суетни и беготни и тягучих нудных гудков незаметно

подошел вдруг встречный поезд, остановился и закрыл собою новый вокзал: остался перед глазами с другой стороны тот, в котором буфет не действовал. Чекалов скучно смотрел на заплаканные, кисейкой завешанные изнутри, окна этого заштатного вокзала, в котором, должно-быть, жили служащие, из которого по вечерам выходили, должно быть, сцепившись по две и по три, жалкие станционные барышни, выходил к приходу поездов, вертелись, глазели и улыбались проезжим, разговаривали и смеялись преувеличенно громко, а потом ложились спать на опостылевшие постели.

Дали второй звонок, и тут же третий. Чекалов думал, что это другому поезду, но бежал и свистел примелькавшийся глазу свой кондуктор, и вдруг поезд зашатался, дернулся под ногами и пошел. Поезд пошел, а старика не было видно. И с сознанием человека, который всегда умен:

— Ага, остался,—довольно и злорадно подумал Чекалов.—Или остался, или во встречный поезд свой медный чайник принес... Вот тебе и „можь-но".

И так же скучно смотрел он на отодвигавшуюся кирпичную стену, на остающиеся окна в кисейках, на серую полосу неба, опять поползшую рядом, и лениво думал: „Едва ли пять минут стоял поезд: что-то уж очень мало,—не три ли?.. Должно-быть, идет с опозданием". И привычно посмотрел на часы: было двадцать минут восьмого. Потом пошел в вагон на свое место.

Вагон—помещение тесное, и какой бы милый человек ни покинул его,—всегда легче и свободней чувствует себя тот, кто остался. И теперь, без старика, Чекалов потянулся всем телом, хрустнув связками, вынул дорожную щеточку, чтобы почистить брюки, и когда поставил для удобства ногу на стариково место, то мелькнула мыслишка

о старике, что, пожалуй, попал он все-таки на этот поезд, только не в свой вагон,—теперь пробирается с чайником. И вдруг поезд дернулся, протащился немного и стал, и через окна слышны были свистки и крики. Кто-то спросил кондуктора: „Что это?“ Кто-то сказал: „Должно-быть, семафор закрыт“. Но кондуктор пробежал мимо, не отвечая. За ним так же, молча, другой. А проводник, молодой малый с запачканным носом, вдруг крикнул по-деревенски, артельным оборотом:

— Братцы мои! Неужто кого задавили?

И, побледневши, Чекалов сердцем поверил, что задавили, непременно, и задавили не „кого-то“, а е г о, старика с чайником, с Георгием, с одной звездочкой... не кого-то, а именно его.

И сердце так больно вдруг дернулось, как поезд, и сжалось в кулачок. И сразу представил он ясно не чьи-то, а такие знакомые серые широкие старые глаза, когда он бежал с чайником, догонял поезд,—глаза, напряженно меряющие расстояние, выбирающие момент, когда подбросить тело на подножку, за что ухватиться правой рукой с этим твердым ногтем на большом пальце. Представил не чьи-то, а его ноги в мягких рыжих сапогах, его нанковые шаровары, его бешмет, его облезлую папаху с красным верхом... Бежал так же смело, как встарину, когда был молод, на турецкие окопы,—ведь за что-то дали же ему Георгия всех четырех степеней и звездочку на погоны... Подпрыгнул, и изменили руки, или помешал чайник,—сорвался и попал под колеса и вот теперь задавлен... не кто-то, а он задавлен.

И забыл о себе Чекалов. Волнуясь, раньше других спрыгнул он с подножки вагона, заспешил туда, где чернела толпа. А в мыслях было: „Почему именно здесь? Вышний-Волочек, 16-е октября, утро, двадцать минут восьмого... вот именно теперь,

здесь!..“ И была еще слабая надежда: „Может-быть, не он?..“—подлая надежда, потому что от нее было легче.

Но, подходя поспешно, услыхал уже,—крикнули:

— Военный!.. Казак!

„Не он!“—облегченно подумал Чекалов; он ждал: „старик“,—на момент совсем забыл, что старик—казак. Через момент вспомнил. Через момент услышал:—Старик!—а еще через момент увидел у кого-то в руках такую знакомую облезлую папаху с красным верхом.

От перебоев сердца остановился. Смотрел в толпу людей, что-то кричавших, а понимал с трудом. Не хотел даже,—страшно было понять. Помолодел. И мысли были несмелые: — „Можно успеть?“—„У-спеешь!.. Вы, приятель, везде успеете...“ „Как это вышло так? Зачем?.. Несчастный случай? И причин ему нет? Никаких причин?.. А, может-быть, в каждом несчастном случае кто-нибудь виноват?“

Подошел он к толпе потому, что кругом него все бежали. Уже несли старика на вокзал, несли как что-то маленькое. Кондуктор кричал:

— Господа, садитесь в вагоны!

Кто-то кричал ему:

— Мерзавцы! Людей давите!

Еще чей-то пронзительный женский голос:

— Господа, кто доктор?.. Доктора нет ли в поезде? Доктора!..

Русый лохматый мужик в шапчонке посмотрел прямо в глаза Чекалову и сказал сообщительно:

— Хуть сто дохторей!.. Теперь ему без последствий.

И рукой махнул, и глаза у него были строгие, так что Чекалов даже вздрогнул.

Потом все было очень остро и больно для глаз, очень беспорядочно: красный вокзал, мокрая дере-

вянная лестница, по которой давеча бежал старик и по которой теперь его несли, деревья без листьев, фуражка начальника станции, раздражающе яркая, чей-то лохматый рыжий ус, два студента без шапок, солдатские шинели в накидку, баба с ребенком, якоря на детской матроске...

— Что? На-смерть?—спросила, готовая ахнуть, толстая, давешняя, с пудрой на лице дама; а Чекалов только посмотрел на нее с испугом:

— „Как на-смерть? Не может быть!.. Почему на-смерть?—Помяло".

Стараясь не слушать, что кричат кругом, тискался на вокзал, подымался по деревянной лестнице вдоль трех полосок из густых кровавых пятен, которые отходили... Тискаясь, думал: „Кто-же, все-таки, он? Зачем ехал? Почему же так хотел, видимо, рассказать об этом он, и никто не спросил?.. И я не спросил!.." А прежний молоточек все стучал: „Можно успеть?—Успе-ешь!.. Вы, приятель, везде успеете". Хотелось взглянуть на старика (на „своего" старика), и трудно было за чужими спинами. Но протолкался все-таки вперед, тяжело дыша. Увидел знакомый рыжий сапог,—не все тело, а один сапог,—в руках у того самого проводника с запачканным носом и артельным голосом, стоял сапог прочно, как надетый на колодку, и проводник держал его несколько наотлет, потому что из него капала кровь.

— Э-э...—болезненно сморщил лицо Чекалов и хотел уже повернуть назад, когда впереди в просвете мелькнул и рукав бешмета: повисший, пустой, порванный, мокрый, грязный... правый рукав...

— Куда ж они руку девали?—вслух сказал Чекалов, ни к кому не обращаясь, про себя.

И представил, как эту руку—давешнюю, которой расчесывал бороду старик, руку широкую, рабочую, шишковатую в каждом суставе пальцев,

с этими ногтями—круглыми, толстыми, желтыми,—засунули наспех, как потерянную вещь, в глубокий карман бешмета.

— Что же это? Всего истерзало?—спросил Чекалов бородатого носильщика рядом.

— Известно,—сказал носильщик сурово.

— Неужели умер?—спросил Чекалов, упершись глазами в рябую щеку носильщика.

— Два раза не помирают,— ответил носильщик,—а все один.

И хоть не ответил он прямо,—Чекалов поверил, наконец, в то, что старика задавило на смерть.

Он набрал полную грудь воздуха, с минуту простоял на платформе и, в то время, как все выходили уже обратно, и начальник станции кричал:—„Прошу, господа, садитесь!.. Сейчас отправится поезд!.. Давай звонок!"—решительно вошел: видно было, где положили старика,—нужно было его посмотреть. Около тела стоял станционный жандарм. Лицо старика было накрыто платком, темным от крови.

— Откройте, пожалуйста,—попросил робко Чекалов.

— Нельзя. Садитесь, господа, в поезд, а то останетесь...—он даже заслонил тело собою, и Чекалов удивился:

— Нельзя? Как так нельзя?.. Мне?—И показалось так естественно это,—спросить:—Кому же можно, если мне нельзя?

Он хотел бы добавить, что из всех людей здесь около тела и в поезде, и на станции, и кругом—только он один знал старика, знал о нем так много: как он говорил, ел яблоки, или сыр, или щи, как хотел, чтобы все спали,—потому что трудно ехать и не спать,—как показывал кинжал, как развязывал чемодан, вынимал чайник, как спрашивал: „Можно успеть?" и какие у него были при этом глаза...

— Вы, стало-быть, ихний родственник?—догадался жандарм и услужливо приоткрыл лицо старика.

Чекалов присмотрелся, нагнувшись,—и произошло ли это от плохого пищеварения, расстроенного виноградом, или от спертого воздуха вокзала, или от двух бессонных ночей, или, наконец, от страшного вида этого лица, еще четверть часа назад такого отчетливо-живого,—только Чекалов перестал сознавать.

Грузный, он повалился в сторону жандарма, и тот не сдержав его тяжести, бережно, через носок сапога опустил его на затоптанный пол рядом с телом.

Октябрь 1912 г.

Недра

НЕДРА

I

Шел ей девяносто шестой год,—пожалуй, даже и нельзя уже было сказать „шел“:—бабушка все время сидела в кресле-качалке, больше дремала, чем смотрела и слушала, и едва ли сознавала ясно, что идет время. Череп облысел,—прикрывала его черным чепцом; бессчетно много было морщинок коричневых на ее лице,—все еще большом, с орлиным носом,—и держалась еще дряблая дородность в теле.

В середине апреля часто стала впадать бабушка в долгие забытья; думали, что от пьяного весеннего воздуха, но знакомый доктор предположил близость смерти. Тогда в комнату бабушки стали чаще заглядывать днем, а ночью поочередно дежурили ее внучки и правнучки, чтобы в момент смерти быть около незапамятно старой, ворчливой, любимой, когда-то победно-красивой, прожившей длинную жизнь.

Была своеобразная таинственность и жуткость в том, как стерегли смерть. В доме следили приход ее пять человек: старый чиновник губернского правления, Никандр Порфирьич, женатый на дочери умирающей, Ольге Ивановне; их сын, пострадавший за убеждения, женившийся в Сибири и теперь приехавший с женой в родной город, искать какого-нибудь места, и баба-законница, кухарка Лукерья.

Потом приезжали посменно две внучки, обе замужние, жившие в том же городе, полнокровные, очень деятельные, сентиментальные, и три правнучки, двоюродные сестры: Лиза, просватанная за инженера Строгова, Даша—невеста поручика Головачова, и Варенька, самая младшая, лет шестнадцати.

Тянулось это около двух недель,—все кто-то откладывал нежеланное, но жданное, и уж началось какое-то соревнование в том,—кому предназначено увидеть последние минуты бабушкиной жизни, и было только любопытство игрецкое, как в карточной игре, а боязни никакой не осталось.

Старик Никандр Порфирьич, — чиновник, — был человек скромный: придя со службы, спал, а потом сидел у себя в кабинетике и допоздна рисовал акварелью морские виды (хотя в натуре моря никогда не видал): синюю воду—белые корабли, или зеленую воду—белые облака, или голубую воду—белых чаек; только три краски у него и было: белила, гуммигут и берлинская лазурь. Любил дали, а берегов не любил, почему и не держал для них красок.

Бывший ссыльный, сын его, такой же скромный, как и отец, занимался математикой, просто так, как любитель: пользы из этих занятий извлечь не мог. Оба они, забившись в кабинетик, старались не мешать друг другу: мало говорили, даже мало покашливали и совсем не курили, ни тот, ни другой. А в остальном доме:—и в столовой, и в гостиной, и в спальнях, и в комнате бабушки—везде было шумно, болтливо, хлопотливо: там жили.

Приезжая, ужинали, болтали о чем-то своем, неистощимо женском, потом, когда в доме укладывались спать, шли на дежурство в комнату бабушки. В комнате стояла для дежурной свеже-постланная кровать, на которой спать воспрещалось, но можно

было лежать и читать при свече книгу. Книгу выбрали толстую,—роман с нескончаемой любовью,—и редко кто знал, как называется роман, и никого, по обыкновению, не занимало, кто автор, и то, что прочитывалось за ночь, через день забывалось бесследно, и загнутые уголки страниц вечно путали, путали и крестики среди текста, которые делали шпилькой,—но свеча и толстый роман—это уж так повелось.

Когда дежурила старшая внучка умиравшей, Серафима Павловна, она просила еще чайник холодного чаю и вазочку клубничного варенья; помешивала тихо звякавшей ложечкой и пила. Очень это любила; холодный чай, клубничное варенье, и как ложечка звякает:—без этого не могла.

Прасковья же Павловна любила фисташки: нагрызала их за ночь огромную кучу. Кроме того, в свое дежурство мыла здесь волосы дождевой водой: для этого всегда хранилась у Ольги Ивановны дождевая вода в кадушке и был какой-то свой мыльный состав, в который она верила и секрет которого обещалась передать Прасковье Павловне перед своей смертью.

Лиза, дочь Серафимы Павловны, приходила с какой-нибудь работой: вышивала подушку, вязала ридикюль, метила платки,—готовила приданое к очень скорой свадьбе, а сестра ее, Даша, писала длинные-длинные письма своему поручику, который был теперь в командировке в соседнем городе, обучал не то ополченцев, не то запасных, и аккуратно ей отвечал, хотя и не столь длинно (ведь он был занят службой,) но нежно; и два-три последние его письма Даша всегда носила с собою, чтобы украдкой перечесть и продумать.

Обе были высокие, полногрудые, на обеих хорошо сидели всякие платья, даже и немодные, и обеим завидовала вслух Варенька-коротышка:

— Какие у вас фигуры шикарные!

— А ты тоже подтянешься,—говорила Лиза,—тебе ведь еще года три расти.

— Да-а... подтянусь на вершочек на какой-нибудь... У нас есть ученица в седьмом классе, Завьялова, еще меньше меня, толстая, краснощекая, ее „самоварчиком" зовут... Не хочу быть „самоварчиком".

— У тебя глазёны красивые и цвет лица идеальный, и вся ты милая-милая!—говорила нежная от писем Даша.

— Милая?.. Правда, милая?.. Дай я тебя, Дашуня, поцелую за это!

У Вареньки матери не было—года три назад померла; отец ее, тоже уездный чиновник, как и муж Ольги Ивановны, от тоски по покойнице иногда попивал.

Домик у него был старенький и сильно заложен, без всякой надежды на выкуп; половина его сдавалась жильцам, а в трех комнатках жили сами; на дворе собака Тузик, а в амбаре, вместе с курами, кролики.

Тузика Варенька купила сама на базаре, в прошлом году, в октябре: захотелось завести комнатную собачку, а на базаре случайно попался приезжий мужик с продажными щенками.

— Ах, какие смешные!—вскрикнула Варенька, увидев щенят в дерюге.—Комнатные?

— Самые комнатные, — сказал приезжий мужик.

— Какой породы?

— Породы,—бог их знает: господские.

— Вырастут,—маленькие будут?

— Самые маленькие,— сказал мужик.

Тут увидела Варенька огромного лохматого пса, привязанного к задку мужицкой телеги, такого же черного, как щенки.

— Это их... „мама“?!—вскрикнула Варенька.

— Какая же „мама“, барышня? Извольте посмотреть:—кобелек!— и мужик поднял псу заднюю ногу.

Варенька не смутилась: о том, что кобелек может быть „папа“, не спросила; отобрала лучшего щенка и принесла. Комнатный щенок за зиму вырос так, что и на дворе ему тесно было, а кухарка жаловалась, что много ест.

Двух кроликов Тузик тоже съел по незнанию, что есть их нельзя; осталось восемь. Когда Варенька ставила на окно свой хрипучий дешевый грамофон, кролики выползали из амбара, один за другим—прыг-прыг—подбирались к окошку, становились на задние лапы, озирались один на другого, развешивали уши и слушали.

Варенька всплескивала руками и хохотала и звала неистово кухарку Степаниду посмотреть.

У Вареньки была уже крестница, двухлетняя теперь девочка Люба, дочка квартирантов, с мягенькими белыми волосиками, с синими глазками,— и она с ней возилась все свободное от гимназии время.

Любила кормить ее конфетами, пришпиливать ей бантики розовые и синие, вертеть ее, как куколку, и припевать:

Делай ручкой хлоп-хлоп-хлоп,
Делай ножкой топ-топ-топ,
И туда, и сюда
Повернемся без труда!

Без ума была от радости, когда крестница в первый раз назвала ее по имени; правда, назвала не Варей, а Калей, но так вышло еще забавнее и милее: Каля... Любила спрашивать ее при других:

— Как меня зовут, Любочка? Я—кто?

— Каля.

Потом хохот до слез и звонкие поцелуи.

А теперь, недавно, девочка ходила в саду по крупному рыжему гравию, которым посыпали дорожки, и сказала:

— Я... хожу... по сухарей.

И так это понравилось Вареньке, что несколько дней она только и повторяла это любочкино: я хожу по сухарей; вспомнит—и прыснет счастливо.

Но и о себе она думала упорно: надвигается настоящая взрослая жизнь: что в ней, в этой жизни? Готова ли она к ней?

И однажды, неуклонно каллиграфически, по всем правилам своего учителя чистописания, написала она письмо в Лондон к какому-то известному из газетных реклам графологу „с покорнейшей просьбой" определить по ее почерку, какой у нее характер.

На ответ приложила две марки, но ответа почему-то не получила и насчет своего характера была в затруднении: каков он?

II

Удивительный выдался вечер, когда Вареньке пришел черед вторично дежурить.

Первый раз она храбро выдержала целую ночь, и утром, когда тихо посвистывала носом сонная бабушка,—вся такая желтая-желтая, как шафран,—а Лукерья уже завозилась в кухне, Варенька потянулась сладко, сделала крестик в романе, приоткрыла ставень, отворила форточку, глотнула росистого солнца, пахучего, клейкого сада, всего-всего утренне-радостно-апрельского, сколько могла вобрать, а потом неумойкой оделась, побежала спать домой („домой" же—это недалеко было, через улицу), и когда проснулась к обеду,—как-то даже и рассказать нечего было: читала, на бабушку иногда смотрела, бабушка посвистывала легонько,—а страшного ничего.

Теперь же, когда шла она опять вечером, попался на улице семиклассник Костя Орешкин,— нескладень и неряха. Когда были еще маленькие, приготовишки, — звал ее „ослицей ширабахскою“ (и откуда взял такое?), а теперь вздумал ухаживать,—и так это у него смешно выходит, и такой стал глупый; и голос ломается на-двое: то дискант, то бас.

Спросил (басом):

— Куда это, Варенька?

— А тебе зачем?..—К бабушке.

— Ну, что ж... (дискантом) я подожду.

— Ого! Подожди-ка!.. Все жданки поешь. Утром выйду.

— Ну-у? Ночевать будешь у бабушки?

Рассказала, что с бабушкой, и как дежурят,—в пяти словах...—И вот, бабушка... и вот мы все: Ольга Ивановна, тетя Серафима Павловна, тетя Прасковья Павловна, и Даша, и Лиза, и я... и вот целую-целую ночь... и роман... И вот... Покойной ночи, а я уж пойду, ведь меня ждут.

А когда прощались, все никак не хотел он выпустить ее руку, и рука стала потная, так что она даже осерчала и выругала его ослом ширабахским, а он промолчал смиренно, как-будто так и надо.

Очень нравилось Вареньке у Ольги Ивановны. Войдешь—обдаст геранью; это ведь только от герани в комнатах так тепло и уютно и оранжереечно.

Говорила Ольге Ивановне:

— Уверяют, что самый это размещанский цветок—герань! Какие глупости!.. Ну, и пусть размещанский, пусть! А мне вот нравится, и все тут! И когда я выйду замуж...

Она хотела добавить, что тогда заведет себе обстановку, совсем как у Ольги Ивановны: и такие же шкафы с резьбой: на посудном — птицы,

носами вниз, лапки связаны; на гардеробном—розы гирляндами и ленты бантиками, а на книжном—просто так, строго: колонны по бокам, с прямыми выемками и с коронками, как на судейских фуражках (книжному шкафу, конечно, ни птицы, ни розы не идут); и такую же заведет большую бронзовую лампу над столом, на которой два медведя лезли на дерево к пчелиному улью,—умильные-умильные мишки, привычные-привычные, лезут и лезут уж сколько лет; и такие же занавески на окнах, и драпри над дверьми; и пол, чтобы всегда был также чисто выметен-вымыт; и на столе в гостиной чтобы всегда две больших вазы: с фруктами—одна, с орехами—другая...

Много еще хотела бы добавить, но добавляла не то, что хотела, а другое:

— Вот только что я совсем-совсем не хочу замуж!.. Зачем?

А Ольга Ивановна, у которой и теперь даже, в шестьдесят лет, волосы были густые и черные, а лицо свежее, добротное, хлопала ее по плечу шутя (такая была ухватка) и подхватывала, смеясь:

— Дурочка-дурочка! И что перепелок ловит?!. Как это замуж не хотеть?

У нее все были какие-то смешные присловья, каждый раз новые.

Самовар, начищенный Лукерьей как-то так искусно, что весь покрылся яркими кружочками,—во всю трубил и парил на столе, точно хотел сорваться и проскакать лихо; швейная машинка трещала; половину комнаты заняло облако серого с голубым отливом легкого шевиота, такого ослепительного, что Варенька даже ахнула. В этом облаке за машинкой сидела Нина Андреевна, сибирская, с бигуди в волосах, и делала строчку, а Ольга Ивановна промывала изюм и сушеные сливы для завтрашнего компота. Все было радостно

Вареньке: материю щупала, смотрела на свет и нюхала, примеряла, завернувшись в нее перед зеркалом и говорила: „Вот прелесть!“ Из-под руки у Ольги Ивановны стащила размокшую черносливину, шаловливо прыгала с нею во рту и приговаривала: „Ух, вкусно!“

На стене висел на розовых ленточках новый для Вареньки какой-то портфель для бумаг,—по зеленому кастору вышитый крупной сиренью и левкоями.

— Какой милый!—восхитилась Варенька.—Это откуда?

— Хвасталась Лиза, что сама вышивала,—объяснила Ольга Ивановна,—ан в лотерею билет на мое счастье взяла. Скрыть хотела, да совесть за́зрила,—принесла.

В клетке над дверью дремал на жердочке дубонос, мокроперый, бесхвостый, нахохленный. Он один только не нравился Вареньке.

— Некрасивый,—сказала о нем Варенька, поджав губы.

А Ольга Ивановна подхватила:

— И-и, некрасивый! Чем носовитей, тем и красовитей. Хотела его на благовещенье — птичий праздник—на волю выпустить, да поскупилась... Да куда ему тут и лететь-то? Еще кто сожрет.

III

Когда Варенька осталась на дежурстве и чинно взяла роман, она долго, сосредоточенно щелкала листами, чтобы найти свою заметку. Нашла, а читать было лень, — бросила. Смотрела на свечку, щурила глаза от желтых лучей, думала: вот после пасхи пойдут экзамены... Заядлая троечница, по убеждению... Ничего, все равно, дадут кончить: ни в одном классе не сидела... Потом — восьмой, — серое платье... А потом что? Курсы?.. И Лиза не

была на курсах, и Даша не была... и какой толк от этих курсов?—Так только,—мода...

Комната бабушки была небольшая, в одно окно. Обои старенькие, желтые, с синими цветочками; лавандой пахло.

Присмотрелась Варенька к бабушке, спокойно сидящей,—показалось, что бабушка на нее тоже смотрит.

— Вы не спите, бабушка?

Как-то неловко стало; а в доме тихо.

— Вам что-нибудь подать, бабушка?

Встала и подошла со свечей.

Бабушка, действительно, смотрела на нее, только спокойно; ласково уж разучилась смотреть—смотрела или спокойно или обиженно; если спокойно, значит, ничего не надо.

Одевали ее чистенько, только во все черное, как монашенку. Еще зимой бабушка чуть не каждый день ходила в церковь, и теперь, когда приносили ей просвирку от ранней, была явно рада, целовала ее и клала на столик. Много их скопилось возле нее на столике, точно и не бабушка сидит, а просвирня.

От свечи бабушка щурилась, и глаза стали узенькие, и в них по золотой точке.

— Ва-ренька...—слабо сказала бабушка вдруг... — Ва-ренька...—и шевельнула рукой.

Варенька обомлела, на пол поставила свечку, стала на колени возле качалки; уж неделю никому ничего не говорила бабушка, только или простонет, или кивнет головой, а теперь назвала ее ясно: Варенька.

Подождала, не скажет ли еще чего-нибудь; смотрела на бабушку восторженно и робко, как на икону. Ничего больше не сказала, только поманила пальцем и веками глаз, и когда Варенька положила голову ей на колено, погладила ее неожиданно

крепко, точно сукно оттирала, и глядела спокойно, но как-будто попрежнему ласково...

Потом скоро сползла рука, глаза закрылись,— забылась бабушка, тихо засвистела носиком.

Варенька встала с колен осторожно, чтобы не будить, взяла свечу, села на свою кровать к роману тоже осторожно, чтобы не скрипнуть, а самой так почему-то хорошо было оттого, что позвала и погладила ее бабушка, даже хоть бы и рассказать сейчас кому-нибудь, если бы был кто. Начала читать,—не поняла ничего; перевернула листик назад, чтобы вспомнить,—и там не поняла.

Так минут десять прошло; читать не хотелось, все мечталось о чем-то, и с бабушкой в качалке хорошо так было.

...Стук в окошко,—слабенький, так что не повернула даже головы Варя, только прислушалась. Потом опять, немного сильнее... Окошко было низкое и прямо в сад, и когда Варенька, замерев, поднялась к нему со свечкой, она уж догадалась, что это—не зов из другого мира, а Костя Орешкин. Его и видно стало, когда отворила ставень: нескладный, шея длинная, ворот блузы расстегнут, лицо робкое.

— Ты что это? — спросила Варенька в стекло, очень тихо.

А Костя Орешкин улыбнулся застенчиво.

Когда улыбался он так, Вареньке всегда хотелось на него прикрикнуть шутя: уж очень детская была улыбка. Но теперь она только погрозила пальцем, косясь на бабушку, и прошептала:

— Какой глупый!.. Когда бабушка спит... Бабушка!—сказала.—А, бабушка!—еще громче.

Бабушка свистела носиком.

Тогда Варенька приоткрыла окно.

— Ты зачем это пришел?

— Может, мы... погуляем?

— Ты с ума сошел! Когда я дежурю...

Костя подвинулся к самому окну, такой же робкий.

— Мы бы немного... по саду.

— Ты как сюда попал? Калитка разве не заперта?

— Нет, я через ограду... Там ведь дырка в ограде—планка одна вынута.

— Вот глупый!

— Очень уж ночь хорошая!—вздохнул робкий Костя.

А ночь была такая, что только подышать ею минуту, и вот уж усидеть нельзя.

В саду было несколько груш скороспелок; теперь (весна была ранняя) как раз они зацвели и ночью пахли куда крепче, чем днем. Потом соловьи... не в этом,—тут их пугали кошки,—в соседнем саду, капитана Морозова,—у него насчет кошек было строже.

Груши и соловьи были только заметнее, а о всех других запахах и других звуках, так перемешанных, таких особенно теплых, апрельских, тихоуездно-городских,—подумать словами как-то даже и невозможно было. Усидеть на месте нельзя, а почему,—бог знает. Почему иногда человеку каждый корявый сучок—родной брат, каждая козявка—сестра, и к парной земле хочется припасть губами?

С вечера прошел маленький дождик, и теперь еще пахучей стало, чем раньше. Даже и та трава, которой еще не было, которая завтра еще пробьется на свет,—и та уж пахла.

От луны сад внизу расписало тенями, и от свечки в окне, за Костей, в куст барбариса полезла тень.

— На минутку можно бы...—сказала Варенька.

— Ну, да, а то на сколько же?!—просиял Костя.

— Как же?.. в окно?.. Нет,—застучу.

— Я помогу, ничего,—и протянул руки.

— На, платок мой теплый возьми.

— Да ведь и так тепло.

— Ну, все-таки,—и поставив ногу на подоконник, еще раз оглянулась на бабушку.

Из сада, насколько могла, притянула внутренний ставень и закрыла окно, чтобы на свет не залезло что-нибудь такое, чего не нужно. И когда очутилась в саду рядом с Костей,—„Вот спасибо тебе"!—сказал Костя.

IV

Из-под теплого платка, накинутого на голову, снизу вверх на длинного Костю птичкой смотрела Варенька: а что он сделает? а что он скажет? а как поглядит?.. Теперь, ночью, все это было так таинственно: и то, что тополи над головой шуршат, как жуки, и то, что груши пахнут крепче, и то, что тени от сучьев так же черны, как сучья, и то, что дышать так легко и сладко, и то, что бабушка зачем-то благословила ее (иначе она никак не хотела назвать того, как ее вспомнила бабушка), и то, что Костя какой-то новый, и с ним хорошо.

— Видишь ли, Костя,—сказала она, подумав,—я вот только за бабушку боюсь, а то бы мы с тобой и по улицам погуляли.

— За бабушку что же бояться?—сказал Костя, радостно.—У нее, ведь, болезни никакой нет: у нее marasmus senilis.

— Что-что?

— Старческая дряхлость, а не болезнь... Долго она еще тянуть может.

— Что ты!—Доктор сказал... а иначе, зачем же нам и дежурить?

— Так у вас времени больно много.

— Какой ты грубый, Костя! Я не пойду с тобой.

— Ну, что ты... ну, прости... Доктора ведь, они мало о человеке знают... Только то, что он должен когда-нибудь помереть... Это я так... Ну, пойдем.

— А где же тут планка вынута?

— Она вот здесь; она не вынута, ее отодвинуть можно.

— Это ты ее и сломал, здесь все планки были целые.

— Что ты, Варенька! Совсем не я.

— Ты, ты, ты,—уж не притворяйся,—я ведь все равно никому не скажу.

И когда Костя помогает ей пробраться сквозь ограду на улицу, Варенька чувствует, как бережно прикасаются к ней его большие руки; ей весело; ей хочется засмеяться звонко; но смеяться звонко нельзя: ночь,—и она доверчиво и благодарно прижимается к Косте плечом.

На улице еще светлее. Безобидные собаки где-то лают мелкие; сказать лишь: „Шарик, Шарик! Ты что с ума сходишь? Ах, Шарик, Шарик!“—вот уж и завилял хвостом. Вдоль улицы—белые акации, одна в одну, как пышные букеты. Прямо под луну попала „Белошвейная специальность белья и метки“,—так и сияют буквы, а ближе—кусочек ржавой черной жести над калиткой; лет десять назад на нем была надпись: „Константинопольский сапожный мастер—Асанов“; теперь облупилось, осталось одно ушко сапога.

Лет десять назад тут на углу была рубленая низенькая кривая хата, мимо которой боялась ходить Варенька, а теперь поставили дом приличный,—белый, в полтора этажа, и на улицу палисадник.

— Я так не люблю, так не люблю, что я брюнетка!—почему-то говорит Варенька, вздохнув.—

Когда я совсем маленькая, ложусь, бывало, спать, —молюсь: „Господи! ты ведь все можешь... Ну, что тебе стоит?—Сделай, чтоб я была блондинкой, чтоб у меня пышные белокурые волосы, и чтоб вились... Боженька, сделай!..“ Очень я усердно молилась, ты не думай... Вставала утром, бегом к зеркалу:—нет, такая же!.. Ревела я тогда, как телушка.

— Зачем тебе блондинкой?

— А затем... что ты ничего не понимаешь в этих вещах.

— Нет, понимаю.

— А два года назад... ну, да, в третьем годе... поехала я к подруге Кашинцевой на дачу в Святогорский монастырь, на каникулах... Вот, где хорошо было! Сколько на лодке катались, грибы в лесу собирали!.. Ну, хорошо. И там ведь много дачников, красный ряд есть. Купила я себе материи на кофточку, и вот как-то меньше, чем надо: всего-то и меньше на поларшинчика, а кофточки не сошьешь. Покупала вечером, лавки закрылись... Ну, ладно, думаю: завтра докуплю... А ночью вдруг пожар, ты представь—красные лавки горят! Бежим смотреть, а я только об одном: пусть себе горят, если так им захотелось, только бы моя не сгорела: нигде больше такой материи не было,— ну, нигде. Вот я молилась!.. И ты вообрази: она-то, моя-то самая лавка именно и загорелась! Вся сгорела, до тла... Пропала моя кофточка! И говорили, что лавочник сам поджег, знаешь, чтобы страховку получить.

Идут мимо паровой мельницы Балабана, где теперь слабо освещены запыленные окна, гудит паровичок, работает ночная смена. Костя невольно суживает шаги длинных ног, чтобы не опережать Вареньку, и оттого походка его становится нетвердой, а Варенька вся так люба земле: шаги ее

незаметно упруги, плавны, точно она не сама идет, а несет ее улица. Иногда она останавливается, оглядывает все кругом, шумно вдыхает воздух вздернутым подвижным носиком и, по-мальчишечьи встряхивая головой, говорит: „Ух, здорово!".

Точно есть какая-то тайная согласованность неба, земли и всего, что есть на земле, и она ее чует.

У Кости не умирает бабушка, но он стыдлив: представляется древняя в черном, одинокая, брошенная,—и ее ему почему-то жаль. Когда крался он по саду к единственному окошку, сквозь ставни которого пробивался свет, такой удачей казалось, что вот появится Варенька в окне, если он постучит тихо. Теперь она идет с ним рядом далеко в ночь, и к этому он никак не может привыкнуть, до того это странно хорошо. Потому-то, когда говорит он, у него обрывается не совсем послушный голос, и он больше следит за ее словами, чем говорит сам, но отвечать старается по-большому. А Варенька говорит, как идет: так же бойко упруго и без усилий. Просто,—это ее природные дары: ходить, говорить, смеяться звонко, хлопать в ладоши, вскрикивать, изумляться.

— У нас скоро свадьба,—то-есть Лиза, сестра, выходит замуж. И так неудобно эта свадьба: как раз, когда экзамены: 10-го мая. А ты танцуешь, Костя?—внезапно спрашивает Варенька.

— Ну, вот еще глупости!—конфузится Костя.

— Я бы на твоем месте, Костя, все-таки училась бы танцам. Как же так? Ты ведь не в лесу жить собираешься? Молодой человек должен...

— Это шаблон, — слабо возмущается Костя. — Шаблоннейший шаблон!

— Что ж! Не так страшно... И земля кружится по шаблону.

И тут же, кстати, вспоминает Варенька о французе:

— Какой наш француз смешной!.. Спросили мы его: Мсье Сизо, правда ли, говорят, что земля—шар? А он встал в позу и отвечает: Cette question est très difficile. Понимаешь?—„Это очень трудный вопрос“. Уж мы хо-хо-тали! У меня, говорит, жена из Африки, но она не черная, нет,—elle n'est pas noire!

— Но... достаточно, все-таки, черна,—вставляет Костя.

— Ну, конечно!.. Взял еще моду почему-то: брать за подбородок пальцем.—Mademoiselle, а скажить...—и за подбородок... Я на него так посмотрела недавно, когда он ко мне подошел, что он... сразу ручки в карманчик, и даже на носочки поднялся... Ей-богу, хотела под-счечину дать!

— Что да-ать?

— Подсчечину.

— Пощечину,—мягко поправляет Костя.

— Ну, все равно... А ты знаешь стихи:

Regardez, ma chère сестрица,
Quel joli идет garçon!..
Но увы,—il faut молиться.
Нам пора à la maison...

— Знаешь?

— Нет, не знаю. Хорошие стихи.

Костя смеется добродушно. Ведь Варенька это нарочно, и она миленькая,—ей все простительно.

Между звезд, теплых и ласковых, два облачка, и у них иззелена-светлые края. Черепичные крыши небольших домов кажутся теперь такими легкими, почти невесомыми; кое-где не спят еще, и так созвучно светит издали каждое желтое окошко. Тротуаров тут нет,—песочек; шаги тихи; собаки лают вяло; садами пахнет...

И пока идут они между двумя рядами молчаливых домишек, так много есть о чем говорить

Вареньке. Говорит, между прочим, и о портнихе Мавре Брюшковой, которая всем рекомендуется, что она—Тася Потемкина:—„Потемкина! Тася Потемкина!"—и руку сует... Как начала ее тетя Параша жучить:—Почему же у вас на вывеске М. Брюшкова?—Это, говорит, моя компаньонка.—Значит,—она хозяйка, а вы—мастерица?—Нет, что вы!.. Я—хозяйка!—А почему же вашей Брюшковой никто в глаза не видал?—Ах, Прасковья Павловна! Я уж вам скажу, только вы никому-никому, бога ради!.. Это—моя фамилия—Брюшкова, но, согласитесь сами, кому же лестно такую фамилию носить? А Потемкина—так красиво: Тася Потемкина!.. Это я из романа взяла... Только, бога ради, уж вы, Прасковья Павловна, никому, пожалуйста, никому!

Говорит о военном докторе Кречмане:

— Знаешь ведь—такой смешной,—в черных очках ходит... Когда на Соборной площади кашляет—кха! кха!—на Почтовой улице слышно. Покупать по магазинам идет, напишут ему счета,—он их как солдат в фуражку прячет. А встретился с дамой знакомой,—фуражечку на отлет,—галан-кавалер,—полетели записочки во все стороны! А Кречман за ними бегом, палкой их ловит, очки падают, из обоих карманов платки торчат,—господи, косоножка! В гости к нам иногда заходит—вот смешной бывает какой,—особенно, когда подопьет!

... А Иван Андрияныч, инженер, вот за которого Лиза выходит,—он не особенный из себя,—так лупоглазенький,—смотрит на меня, щеку кривит.—Вы что это щеку кривите? Думаете, хорошо?.. Кто, говорю, так делает? Никто так не делает!—А это, говорит, у меня, просто, зуб болит... Ой, как болит!—Да вы бы его вырвали!—Ох, не могу!—Почему не можете?—Как раз это тот самый зуб, какой я против вас имею!—Всегда что-нибудь сморозит вообще...

Говорит Варенька, точно все спешит рассказать,—и о классной даме Павлунчике, которая „отличилась недавно“, и о „началке-Евдохе“, и о том, каков за последнее время стал ихний батюшка, „père Антонин“.

Костя слушает, и ему так нравится ее голос, теперь, ночью, пониженный, и от этого какой-то волнующе-красивый, и нравится, что у нее так много веселого обо всех.

Отец Кости—человек мрачный. Он—по хлебной части. Чай пьет вприкуску. Дома—скупо, тесно, грязно, но Костя никому из чужих не жалуется на это: он стыдлив.

Около большого сада купца Стрекачева останавливаются послушать соловья, который лучше Морозовского: звончее, колен больше, и они чище.

— Должно-быть, старый,—замечает Костя.

— Нет, он просто талантливый,—говорит Варенька.

Луна над этим садом как-то особенно хрустальна и велика на просторе, и глаза Вареньки загадочно блистают. Кажется Косте, что нет и не может быть ничего прекраснее их, и горячим лицом он тянется к ним и касается их невольно. Это—как причастие для него свято, но серчает Варенька.

— Без глупостей!—говорит она резко.—И я этого так не люблю, так не люблю!

Она стоит некоторое время надувшись и потом, четко ставя ноги, идет назад.

— Куда ты? Варя!

— Я—домой... И не смей провожать: я—одна.

— Зачем ты так?—волнуясь, стремительно догоняет ее Костя.

— Варенька!..—Догнал; идут рядом.

— Я с тобой просто гулять вышла, просто так, ну... а ты...

— Я больше не буду этого, прости... Я нечаянно... не серчай...

Несколько времени молча идут назад, но от этой ночи назад итти нельзя,—только вперед можно.

— Хочешь, еще погуляем немного, только без глупостей,—говорит, наконец, Варенька.

И, повернувшись, они идут снова в ночь, и замечает о себе Варенька, подобрев:

— Я—капризуля страшная,—ты не думай... я и ногами топать могу, и кричать могу,—ты меня еще не знаешь, как следует...

Вышли на улицу, кое-где освещенную, несмотря на ночь: главная, Дворянская—магазины.

Вот гастрономический Стрекачева, большой, с зеркальными окнами; внутри горит лампа-молния, и гореть будет до часу ночи: при магазине клуб. В окнах так много консервных жестянок разных цветов, ветчина, фрукты, вина, и огромный пухлый кот—желтый, с белыми полосками поперек, сидит на прилавке и куксится.

Вскрикивает Варенька:

— Ах, котище какой! Вот прелесть!.. Страх, как люблю!..

Ей хочется добавить: непременно заведу такого,—но она добавляет:—Это он от мышей.

— А сам, небось, втихомолочку пользуется,—говорит Костя, смеясь.

— Если бы пользовался, его бы не оставили, что ты!

— Да ведь щекочет в носу... ветчина, например.

— Ну, что ж... щекочет: он—ученый.

— До трех часов потерпит,—пожалуй, а уж потом...

— Почему это до трех именно?

— Не знаю уж... так мне кажется.

— Это ты по себе судишь?

— Я—куда там! Я бы и часу не утерпел, ха-ха!

—Эх, ты!.. Да не хохочи по-лешему!.. А вон явские апельсины, вкусные-вкусные... Ну, пойдем, посмотрим, какие теперь перчатки модные.

В галантерейном освещена только витрина не уличным фонарем, а луною. Длинные перчатки развешаны крест-накрест.

— Вон, какая теперь мода: белые, лайковые, пуговки черные, большие...

— Всегда они такие были!

— Нет, не всегда! что ты? Много ты знаешь!.. А вот корсеты,—посмотрим пойдем.

— Ну, зачем еще корсеты, дрянь!

— И вовсе не дрянь... Какой ты, Костя, грубый! Тебя просят,—ты должен итти... Вот, видишь, голубой с сеткой на всю фигуру? Это парижский.

— Пойдем к реке,—предлагает Костя:—там теперь замечательно.

— А бабушка?—вспоминает Варенька.—И то уж мы как далеко ушли!

— Ничего, я думаю.

— Может-быть, и ничего... Я бы почувствовала. Я тогда почувствую... Ведь у меня рефлексы очень сильные...

— Рефлексы,—мягко поправляет Костя.

— Ну, все равно... И вот эти мои ре.. рефлексы...

— Рефлексы.

— Что это ты ко мне все придираешься, Костя?.. Думаешь, это—очень хорошо?

— Ну, я не буду... Ты на меня не серчай...

Какой-то одинокий пьяный, в нахлобученной фуражке, весь намеленный, должно-быть, рабочий с мельницы, полз навстречу, покаянно бурча:

— Как поро-сенок... Пятьдесят два года мне,— а я... как поросенок...

Поравнявшись, сделал крутой зигзаг и чуть не придавил Вареньку. Костя ловко поставил руку

ребром между ней и пьяным и пояснил взрослым басом:

— Деривация влево, почтенный!

А Варенька, прижавшись к нему, сказала:

— О, господи! Вот еще!..

И подумала тут же: „Через год Костя—студент... Студенту уж и жениться можно?..—И потом еще подумала:—Он ведь и не бедный, из купцов... Его если подстричь, одеть прилично, и чтоб он не сутулился так,—он будет даже красивый...“

V

Полукругом мягким и лунным, чуть задымленным от ночного пара, река подходила к берегу с двумя мостками для баб-полоскалок, а за рекой—дубовая „Хлебинина роща“, где дубы огромные, старинные, где росли ландыши, где устраивались маевки. Над рекой повсюду теперь горластый, влажный, упругий рокот лягушек,—к дождю или к ведру,—к чему они там задают свои балы и концерты? Сзади— за спиной—линия невзрачных домишек, и от них жилой, печной запах; несколько крашеных лодок в воде у причалов, две-три скамейки на берегу, и надо всем вверху очень далекое свежее небо в мелких звездах, и так ясно, что перед этим небом все дела человеческие, великие и малые,—равны. Но это только с первого взгляда так:—во все нужно вглядеться пристально послушать, подышать светлой речкой, идущей издалека, различить несколько слабых сырых огоньков вдали, вспомнить детство.

Для этого нужно сесть на одну из истерзанных перочинными ножичками и исписанных карандашами стареньких скамеек, сесть плотней, и сидеть долго и молча: смотреть, слушать и думать; не говорить, потому что слова отпугивают то, что приходит.

Тогда будет исподволь просачиваться внутрь какая-то одна для всего в мире...—как назвать это?—душа ли, тайна ли, мысль или вечность, или как еще,—все равно, как ни назови, все будет не то, потому что нет слова для этого...—и все зазвучит согласно, и к одной какой-то общей точке схода, ото всего кругом пройдут через тебя горизонтали.

Небо ниже спустится, и ближе звезды, и лягушки в реке не будут горланить,—вот странность!—то-есть, они будут, но их будет слышно,—насколько нужно, и сырые огоньки вдали подсохнут, и отражение от лодок и причалов и бабьих мостков,—все это будет ничуть не тише лягушек и глухих речных бучил, и Шариков у запертых калиток. И яснее все станет в тишине: чему же и с чем же спорить?

Эти пристальные к жизни, тихие минуты, если сбылись они, их нужно беречь, как пасхальные свечи—они редки. Они приходят из недр жизни и все преображают, неизвестно как: и темную дубовую Хлебинину рощу, и жуткость реки, на дне которой с той стороны переплелись корни, и выпьи крики, которые в другое время пугают.

И чужое тепло рядом незаметно так и просто становится твоим теплом, и даже странно как-то думать о нем, что оно—чужое.

— Это напротив, кажется, утонул ваш гимназист Казанский в прошлом году?—спрашивает Варенька тихо.

— Да, напротив... Плавал плохо, судорогой руку свело...—так же тихо отвечает Костя.

Его большая рука лежит на Варенькином плече. Варенька прикурнула к нему головой в своем теплом платке, и от этого платка чуть тревожно, хорошо пахнет.

— А ты умеешь плавать?

— Еще бы,—я-то!

— Я тоже умею. Я далеко плаваю.

И потом опять долго сидят и молчат.

Когда детское не ушло еще из души, таким все кажется глазастым и большим, и захолустно-тихоуездного нет, потому что по своей орбите какой-то движется в душе весь целиком нерасчленный мир. Куда он?—Бог его знает. И пока неважно это,—куда. И из земли не выпадешь, и из души не выпадет земля; пока недалеко ушло детское, вся душа еще земляная,—снежная, дождевая, цветочная, обнадеженная солнечной лаской самое меньшее на сто лет.

Перед звездами все человечьи дела равны, но ведь и все звездные дела равны перед землей, что бы про них ни выдумывали звездочеты. Вот упала звезда, оставив после себя на одну секунду, на одно только мгновение зеленый пушистый хвост...

Чуть подымает голову Варенька.

— Ты слыхал, говорят—Хлебинину рощу покупали какие-то, и там будто хотели устроить... завод что ли?

— Маслобойку... Это для виду только, а потом перепродать.

— Ну, да... А Хлебинин не продал. Молодец! А то бы нам летом и ездить некуда.

— Зачем же ему продавать?—Он и так богат. А со временем, тем более, может быть железная дорога к нам пройдет,—цены вырастут.

— И куда же, ты подумай,—моя крестница Любочка за ландышами пошла бы, как мы ходили?.. Правда?

— Правда,—смеется Костя...

— Она ведь, у меня удивительная!.. Я ее спросила в прошлом году,—чуть она говорить начала:—„Кого ты, Любочка, больше любишь,—меня или

свою маму?"—Она говорит:—А!—Кого, Любочка?—А!—Меня или маму?—А-а...—(Чуть не плачет, бедная).—А...динаково, что ли?—Да,—говорит.

— Ах, хорошо!—смеется Костя.

Летучие мыши иногда налетают, пропархивают мимо и как-будто попискивают на лету. С той стороны, кроме соловьев и лягушек, слышится иногда треск, точно небольшая трещотка то в одном месте, то в другом.

— А ты знаешь, Костя, кто это трещит?

— А это птица такая... называется она...

— Хорошо, не надо... Я тоже знаю: козодой! А что?

— Козодой.

Варенька прижимается к Косте крепче, точно козодой своим треском что-то такое, какую-то тонкую ниточку разорвал между ними. Потом еще какую-то ниточку разрывает налетевший на Костю жук; потом еще одну—плеск весла около далеко где-то поставленных ятерей.

Двигалась ночь в своей последне-апрельской работе близко и густо; ясно было, как хлопотала неугомонно и на реке, и в Хлебининой роще, и сзади, в домишках, и там, на лугах, где огоньки,—а они двое сидели и слушали, как двигалась ночь, и когда говорили, то все о чем-нибудь маленьком, полудетском, согласном с этой близкой землей, все дела которой равны перед звездным судом.

Какой-то запоздалый извозчик протарахтел и разбудил собак недалеко от них в недавно замощенном переулке, Костя погладил тихо Варино плечо.

— Как-то бабушка твоя теперь, Варя?

— Я только-только вспомнила про бабушку, а ты сказал!—подняла удивленно голову Варенька.—Почему ты это угадал так?.. Знаешь что, мы все-таки пойдем уж,—будет, правда?

И, точно до конца продумав все, она добавила просто:

— Ты, Костя,—хороший. Дай, я поцелую тебя крепко-крепко.

VI

Только, когда забрезжило мутное молоко на востоке, и почернели влажно сучья акаций, и два соловья перебойщики—один в саду капитана Морозова, другой—в Стрекачевском саду стали слышнее, и уж свежо стало, так что прозябла Варенька,—она простилась с Костей Орешкиным около сломанной планки бабушкиной ограды. По саду пробежала бегом (а Костя не уходил, смотрел),—на бегу думала: „А вдруг что-нибудь с бабушкой случилось, а меня не было!..“ Побежала к желтенькой рыхлой полоске своего окна, отодвинула ставень, пригляделась: сидела попрежнему бабушка в качалке,—спала, а свеча отгорела уж наполовину; в комнате было тихо, желто, тепло, лавандой пахло, а на ее кровати спал корешком кверху толстый роман.

Влезла Варенька так ловко и бесшумно, как самый опытный вор. Постояла около бабушки, постояла около зеркала у комода—пригладила волосы, постояла еще у окна и потом плотно прикрыла его и заперла на задвижку ставень, и стало так, как-будто все время сидела здесь, и представилось вдруг, что войдет Ольга Ивановна, шмурыгая туфлями, в ковровом пестром платке поверх рубахи и спросит: —Ты никуда не уходила, Варя?—а она вздернет плечами обиженно:—Как же я могла бы уйти, раз я дежурю?

Поправила свечку, прилегла на подушку, пахнувшую со вчерашнего любимыми Дашиными духами Coeur de Jeannette, взяла было книгу, но такими бедными, жалкими, тошными показались мелко упечатанные страницы, захватанные в нижних

уголках,—а ночь, за окном не оставшаяся, а вошедшая сюда с нею, была так полным переполнена, так тяжело ложилась на веки, что куда же было бороться с нею?.. И Варенька заснула крепчайшим весенним сном.

Баба законница, Лукерья, успела уже сбегать к столяру Маурину, которому Ольга Ивановна загодя заказала приличный гроб, и теперь степенно, между делом, голосила для порядка над положенной на столе бабушкой; Никандр Порфирьич, как всегда в будние дни, ушел скромненько на службу; Иван Никандрович, теребя бородку, ходил по узенькой аллее в саду и думал о солнце, цветах, жизни, смерти, о жужелицах и величинах бесконечно малых; Нина Андреевна давно, украдкой, приготовила уж свою материю и машинку и ждала только удобного времени, чтобы приступить к стукотливой строчке, и вообще шел уже деловой девятый час, когда Ольга Ивановна, тряся за плечо, будила Вареньку.

— А?.. Я сейчас... Я еще немножко...—бормотала Варенька, не открывая глаз.

— Зева-ты, зева, соня-ты, соня!.. Вставай,— бабушка умерла.

И тут же вскочила Варенька. И так стало странно вдруг, что бабушка умерла: ведь только что была живая,—не страшно, а именно странно—когда же?.. И, может-быть, бабушка не умерла бы так скоро, если бы она, Варенька, не заснула? И, может-быть, и она не заснула бы, если бы не ушла гулять?.. Стала вдруг совсем маленькой грешной девочкой, ухватилась за платье Ольги Ивановны и заплакала навзрыд.

А Ольга Ивановна утешала:

— Ну, что ты, дурочка, что?.. Смерть пришла, и все... Поди, умойся... Потом за монашками сходишь, чтоб почитать пришли. Я уж договорилась с ними третьего дня, они знают.

И ушла хлопотать по хозяйству, сильно стуча башмаками. Она как жандарм ходила, — раз-два, раз-два; на верхней губе усики и на нижней, в бородавке пять волосков, и голос низкий.

От укоряющего солнца некуда было девать глаз: на графине с водою солнце, на медном подсвечнике солнце, колючим золотом пронизана была занавеска, яркий-ярчайший зяблик гремел за окном; но глаза искали бабушку; и когда увидала черное уж не в привычной качалке, а на столе— вздрогнула и вскрикнула.

Через час Варенька шла в Вознесенский монастырь по тем же улицам, по каким ходила с Костей, но теперь это были всегдашние улицы: все дневное—всегдашнее.

У матери-казначеи, белой-рассыпчатой, только-что пришедшей от поздней обедни, выпила чашку чаю с медом. Двух монахинь обещала казначея прислать после вечерни; пожалела бабушку-молельницу, пожалела и Ольгу Ивановну:—хлопоты.

В обед сошлись у Ольги Ивановны:—Серафима Павловна и Прасковья Павловна, и Даша, пахнувшая духами Coeur de Jeannette, и Лиза с дюжиной платков в ридикюле. И при виде бабушки становились у всех мокрые глаза, а при виде Вареньки, убитой горем, высыхали.

Выговаривали ей шутливо:

— Ах, сплюшка, сплюшка!.. Ишь, не нам, а тебе это выпало, а ты не устерегла.

И у всех тесны были обнимающие изгибы мягких рук, и влажны губы.

Но Варенька никому не сказала, что случилось ночью, как назвала ее бабушка, как благословила, и когда она, не сознавая еще ясно, поняла, на что благословила, — бабушка умерла, уснула тихо навеки, точно исполнила последнее, что хотелось исполнить, и дальше уж не зачем ей было дремать

в кресле-качалке — жить. От этого-то теперь на столе у нее такой спокойный вид отдыхающей по праву: дождалась, когда последнюю правнучку, самую младшую, озарила весенняя любовь... дождалась и умерла.

И когда вечером, придя домой, Варенька подумала обо всем, что было в этот день, она вспомнила ярко только Костю, как он постучался в ставень,—точно из другого мира зов,—и какое у него было тогда робкое лицо; вспомнила и то (это после),—как он поцеловал ее застенчиво около сада Стрекачева, а когда она осерчала притворно, сказал тихо: „Я больше не буду этого... Я—нечаянно... не серчай!..“

Вырвав из тетрадки четвертушку графленой бумаги, Варенька вывела на ней мелким, но старательным красивым почерком: — „Милый — милый — милый, родной мой Костя!..“

Это было первое ее письмо, в которое хотелось ей вместить так много: и смерть бабушки, и то, что она благословила, и все прошлое свое до этой ночи, и свои чувства. Но бумага была мала, и писалось все только это: „Милый—милый,—милый, родной мой Костя!..“

И, исписав так всю четвертушку, Варенька заплакала от тихой радости, что может сказать это так значительно и просто теперь, и что будет говорить это часто-часто, долго-долго,—целую жизнь: „Милый—милый—милый,—родной мой Костя!..“

Ноябрь 1912 г.

II

Испуг

ИСПУГ

Маленький Сережа подбежал к отцу и проговорил, задыхаясь:

— Папа-папа!.. Там, на дорожке... лягушка!.. Папа-папа!.. Там, на дорожке лягушка... раздавутая!.. Суха-ая!

— Ага... ну, хорошо,—сказал папа; не посмотрел на него,—читал газету.

— Папа-папа!—Сережа потянул его за рукав.—Там, на дорожке... ну, смотри!.. Папа же!.. Там, на дорожке... раздави-итая, сухая!.. Папа...

— Ну, хорошо... Поди побегай!.. Поди к маме,—сказал папа, ощупью нашел его стриженую головку, добавил:—Вот напек головку на солнце... Поди в холодок к маме... Поди.

Растопырив голые ручонки, как крылья, побежал Сережа к маме, стиравшей тут же в саду его белье.

— Мама-мама,—ухватил он ее за фартук,—мама же, ну, смотри!.. Мама, там, на дорожке... раздавитая лягушка... так!—он запрокинул голову и раскорячил ноги.—Су-ха-ая!

— Не мешай, уходи!—сказала мама.

— Ну, смотри,—захныкал Сережа.—Раздавутая лягушка... там...

— Я тебе сказала: уходи!

— Ну, смотри! Ну, смотри!..—несколько раз топает на месте ногами оскорбленный Сережа, уже собирается заплакать во весь голос, но замечает Прокофия, плотника, который чинил ворота.

— Пор-кофий — Пор-кофий, — добежал до него Сережа:—там, на дорожке лягушка... раздаву-утая...

— Ишь-ты... лягушка!—удивляется Прокофий.— Какая лягушка-то?

— Раздави-итая... Сухая!..

— Вот еще какая,—ах, ты, господи!—Прокофий улыбается заросшим отовсюду ртом, откладывает в сторону шершебок и покрывает ласково Сережину спину широкой ладонью.

— Лягушка?—говорит он.

— Суха-ая!—добавляет Сережа.

— Ишь ты,—удивляется Прокофий,—дела чудные!.. А много-ль тебе годов, Сережа?

— Три,—говорит Сережа и тут же добавляет поспешно:—И восемь.

— Та-ак... три да восемь... это, стало-быть, тебе много годов... Оказался ты у нас старичок:—три да восемь... Постой-ка, цанзюбель возьму...

Он отстраняет легонько Сережу и вынимает из мешка длинный желтый ящик.

— Цан-буль-буль,—пробует про себя повторить Сережа, задумчиво засунувши палец в рот.

— Цанзюбель называется... А вот это,— это струг двухручный,—понял?

От усилий запомнить „цанзюбель“ и „струг“ Сережа шевелит губами и жмурит брови, а Прокофий уже орудует цанзюбелем, из-под мудреного визгливого инструмента ползут-ползут длинные, желтые, как макароны, стружки, от которых пахнет скипидаром.

Очень жарко. Так жарко, что нельзя стоять возле Прокофия голыми ногами на горячем песке. Сережа переминается, подпрыгивает, чешет подошвы, потом окончательно начинает тосковать:

— Ой, что ж я теперь буду делать! Что я буду делать!

— Поди, водицы напейся,—искренно советует Прокофий,—и мне принеси.

И вот Сережа на кухне, и звенит уже оттуда его полуплачущий голос, обращенный к кухарке Дарье:

— Дашка! Дай кружку!.. Дашка!.. Да Дашка же!.. Ну, смотри!

Из кухни он едет на велосипедике в сад; исправно вертят колеса трехгодовалые ножонки, и правильно действует он рулем; мчится по пустым дорожкам и неистово дует в свисток: давай дорогу.

Но вот брошена в дальнем углу машина, и опять бежит к папе Сережа, ошарашенный и спешащий:

— Папа-папа!.. Папа-папа!.. Ну, смотри!.. Там—грамофоны!

— Э-э-э... этого... поди, милый, маме скажи,—отзывается папа.

У него на круглом, белом, облупленном солнцем столе две пустых квасных бутылки; к сладким лужицам около них липнут мухи и жужжат, и лезут в рот и в уши, и мешают читать газету.

Деваться от жары некуда. И говорили сегодня в земской управе, где он служит помощником секретаря, что были уже в городе случаи солнечных ударов. В газете тоже: повсеместная жара, засуха, солнечные удары.

— Да папа же!—дергает его за рубаху Сережа.

— Э-э... вон мама... видишь,—мама... Поди, маме скажи.

Мама уже вымыла его рубашонки и вешает их сушить. Отсюда, сквозь кусты черной бузины, Сережа видит ее синий капот и над ним встрепанные желтые волосы.

— Нет, ты посмотри!

— Мне некогда, отстань.

— Ну, смотри,—хнычет Сережа горестно,—ну, смотри!..

Мама — строгая; ей говорит Сережа полно и точно:

— Мама-мама!.. А там цветут грамофоны... там! —и показывает рукою—где.

У мамы с папой только-что была ссора. Перечислено было все, что перечислялось уже при прежних ссорах, и добавлено, что накопилось за последний месяц. Мама плакала; веки у нее набрякли, и глаза красны. И послал к ней Сережу человек, которого она ненавидела теперь больше всего на свете.

— Пошел от меня, — слышишь, пошел! — кричит она Сереже.—И не приходи ко мне больше,— никогда не приходи!

— Ну, смотри! — начинает плакать Сережа, — ну, смотри... ну, смотри!

Он морщится, краснеет, взмахивает руками, и уже бегут-бегут из глаз чистенькие серебристые слезинки.

— Это, должно, крученые паничи у вас цветут, Сережа,—говорит издали Прокофий:—паничи-цветы такие, — а ты—грамофоны... То-то ты еще чудной!

Но Сережа все стоит около матери, смотрит на нее обиженный, сморщенный, плачет громко, навзрыд, и щедро моют его чумазые щеки частые слезинки.

Потом он уходит. Он идет покинуто и безнадежно в калитку и дальше, на выгон, по крепко утоптанной тропинке в степь. Около соседнего дома, дома старика Рохленка, старосты пожарных, он видит—возятся Петька и Васька, дети Рохленка, продувные мальчишки. Петька окликнул его:

— Сережа!

Но Сережа отвернулся и идет дальше.

— Сережа, ты куда это?—кричит Васька.

Но Сережа нарочно отвернулся от него, насколько мог круче, и идет, нетвердо ставя ноги. Тут колючки, репейник, ямы... Дальше, далеко—солдатский лагерь, а еще дальше—там синее. И маленький Сережа уходит от мамы, от дома, от Дашки... в синее. На щеках его окончательно высыхают следы слез и много мелких трудных шагов он делает, пока останавливается, наконец, и робко смотрит назад, где нет уже ни Васьки, ни Петьки,—и дома нет:—много домов.

Сережа—один. Небо, степь и Сережа. Он робеет. Он идет назад, проворно работая ногами. Слышит, как сильно бьется сердце, но бьют в колючках кузнечики, попадаются тряпочки, стеклышки... Оцарапало что-то голую ножонку, — стерпел Сережа, не заплакал,—идет, пыхтя. И когда приходит он, наконец, к такой знакомой своей желтой калитке и тут же на дворе видит Прокофия с пилою, он, спотыкаясь, бежит к нему, хватает его за шаровары и кричит восторженно, задыхаясь:

— Пор-кофий-Пор-кофий! Пор-кофий... я сам пришел!

Часов в пять, когда уж схлынула большая половина солнца, и в серые тополи стали вплетаться золотые паутинки, на дворе Рохленка Васька и Петька гоняли свинью палками.

Это бывало: заходила в открытую калитку бродячая свинья, и не было большего наслаждения для продувных ребят, как гонять ее бешено по двору, заперев калитку.

Мать их спала сегодня душным сном в сарае, и сидел Петька у порога,—строгал что-то ножичком, когда вбежал Васька, весь красный дрожащий, и глаза как ракеты.

— Петька, скорей!

— Да молчи, не кричи,—бо мама, спит!—шепчет Петька и машет рукою.

— Да свиня!—понижает голос Васька.

— Свиня-я!—орет Петька радостно, что есть мочи, совсем забыв про мать.—Хватай дрючки! Да зачини ворота! Да зови Кичин-ского!—и вылетел из сарая стрелой. Вскакивает мать; спросонья долго не может понять, что с нею. А на дворе уже хрюканье, топот, крики: калитка заперта,—гоняют свинью,

Сережа стоит у щелистого забора, согнулся, приник и смотрит. Свинья большая, длиннорылая. супоросая, грязная, щетина торчит ежом.

— Да бей же ее, бей!—свирепо кричит Петька; заскакивает ей наперерез, звонко хлопает ее палкой по грязному боку...—бу-ум!

Свинья взвизгивает тонко... отбросилась в угол двора, остановилась, как вкопанная, хрюкает, думает, крутит хвостом. Подкрался Васька, и опять—бу-ум!—и мчится, как буря, свинья к калитке, роет мордой, звонит щеколдой, рычит визгливо, а тут Петька с дрючком — бу-ум! — и опять бросается свинья в дальний угол двора, а там Васька, и вот уж—видит Сережа—лезет через забор приготовишка Кичинский, палка в зубах, и кто-то держит его за ногу сзади,—где ж удержать?

— Кичинский! Кичинский!.. Да бей же ее, бей! Да лупи сбоку! Кичинский!

Из сарая мать Васьки тоже что-то кричит, кричит... Бу-х!.. Это мечется свинья в забор сразбегу всем телом, может-быть, где подастся... и гул, и топот, и где-то, еще ближе, всем телом в забор—бу-ух!

— Да бей же, бей, э-эх, ворона, лупи!—звончее всех кричит Кичинский. Сам он нагнул голову быком, не отстает от свиньи, бьет ее раз, два, три... по хвосту, по задним ногам...

Подобрав юбки, бежит по двору Васькина мать, отворяет калитку настежь; но свинья уже ничего не видит: визжит, мечется мимо калитки, сошла с ума. Остановится, на нее кидаются с гиком, мотнет головою—и дальше.

Смотрит Сережа,—обо всем забыл, хлопает руками, шепчет радостно:—Ах, господи!..—Но вот, возле самых глаз его против щели,—и как-будто ни щели, ни забора нет—вспененная грязная, страшная клыкастая морда и желтый бешеный глаз, и всем телом сразмаха кидается свинья в доски забора как-раз против того места, где Сережа...

Оглушен Сережа. Отскочив, он упал. Он лежит на земле, и кажется ему, что давит и рвет его свинья. Так несколько страшных мгновений... потом тихо подымается он, по привычке отряхивает штанишки, осматривается и видит вышедшую на шум Дашку. Он подбегает к ней, как всегда спешащий, и говорит ей с радостной гордостью:

— Дашка-Дашка... а я... а я смотрел!..

На Дашке фартук с „акулинками“,—такой рисунок ситца, похожий на семя укропа,—упорно зовет это „акулинками“ Сережа,—и теперь он водит пальцем по фартуку и добавляет успокоенно, забывчиво:

— Акулинки.

Вечером варили кашу в саду.

— Кашу!.. Ах, ты, господи!..—смеялся, бил в ладоши и у всех виснул на руках Сережа.

— Ка-шу!

Это была не та каша с молоком, которую он ел часто, была это большая каша, в большом черном котле, и называть ее нужно было длинно, протяжно:—ка -а-аша.

Огонь, красный, желтый, трещит стружками, фукает.

— Ф-фу, ф-фы... ну, смотри!

Показал на него пальцем и стоит, очарованный.

Беседка направо в кустах. Была белая беседка, а теперь, как...

— Дашка, как голуби!.. Смотри: как голуби!

— Какие голуби? Заболтал!

— Там!—машет Сережа в сторону Рохлинского сарая и повторяет упорно:—Голуби!

Это—сложно: голуби тоже белые; выпускает их старый Рохленко на заре, когда окна в его доме горят, и вот... голуби тогда тоже горят.

Дашка суетится около огня: моет пшено и шумно выплескивает ополоски в кусты.

— Дашка,—говорит Сережа; он вспоминает, как кричит на нее мама, теребит Дашку за платье и добавляет твердо:—И вечно ты колготишься попусту, Дашка.

Отошел к стороне Прокофий, вынул из кармана маленькую бутылочку, постучал об нее ладонью, запрокинул голову и булькает. Вот опять подошел к огню и жует корку.

— Ты что там делаешь, а?—спрашивает Сережа, хитро щурясь.

— Ты, Сереженька, маленький, этих делов не понимаешь,—полный добродушия, отзывается Прокофий; он чистит картофель, и Сережа карабкается к нему на спину мнет обеими руками прочную жесткую шею и то и дело спрашивает над самым ухом:

— Нет, ты что там делал, скажи?.. Скажи, ну?

— Не балуй,—говорит Прокофий. Пахнет от него крепким потом, кумачевой рубахой и еще—как скатерти пахнут.

Очень весело. Нет ни папы, ни мамы. Они в комнате, с ними гости: дядя Иван Николаич,—седой-седой, и тетя Марья Ивановна—седая-седая.

— Бум-бум-бурум-бум,—поет и кружится, как турухтан, Сережа.

Вот Дашка плеснула из миски на рубаху Прокофия,—черное пятно на красной рубахе. Вскочил Прокофий, бьет Дашку по спине ладонью.

— Ты зачем? Не смей!—кричит Сережа.

Но Дашка хохочет, хохочет за ней Сережа, подвизгивая и притоптывая каблучками.

Очень весело.

— Кто там в кустах?.. Это кто там в кустах?— отчетливо спрашивает Сережа, потому что есть кто-то в кустах: шуршит и белый.

Сережа отвел руки назад, вытянул шею,—пристально смотрит:—Васька.

— Васька?

Васька присел, приник. От костра на него ползет дым, розовеет белая рубашка. Он только-что перелез через забор, но еще не знает хорошо, можно ли здесь, или нет, и как хитрый щенок прикурнул пока на-авось и торчит около и косит глаза.

— Васька?—опять спрашивает Сережа.

— А это вовсе не Васька,—говорит добродушно Прокофий, чистя картошку.

Ползут из-под ножа шкурки, точно стружки, Дашка режет сало; сало ложится розоватыми ломтиками на синюю тарелку. „Дай мне“,— хочет сказать ей Сережа, но забывает, потому что Васька.

Вверху темно: там небо—далеко; сбоку, справа—мелькает беседка, а за нею дальше темно и далеко; слева—кусты, в них Васька, и потом темно.

Васька присел так, что колени вровень с лицом; картуз нахлобучил, то видно лицо, то нет: занесет его дымом—не видно, кусты; отнесет дым, осветит его—Васька.

— Ты зачем, Васька?—спрашивает Сережа.

Смотрит веселыми глазами Дашка на Прокофия, на Ваську, на Сережу и говорит:

— Вовсе это не Васька!

— Это Петька,—добавляет Прокофий:—ты разгляди.

А Васька сидит, как сидел, не шевелится, колени подняты, картуз спущен на глаза, а вверху дугой... Как же Петька?

— Васька!—громко вскрикивает Сережа.

Молчит Васька.

— Васька!.. Ну, смотри...

Сережа удивлен, растерян. Ведь это—Васька. Картуз у Петьки новый, синий, и Петька больше, и Петька—Петька, а это—Васька.

— Ну, Васька же, ну, смотри!..

Молчит Васька.

И вот уже не весело, и от огня пятится Сережа и сдвигает бровки. Смотрит на Прокофия, на Дашку...

— Ты ему скажи: Петька, он и отзовется,—говорит Прокофий.

Дашка отвернулась, молчит, шевелит локтями.

Трещат стружки не так, как прежде, а тихонько, чуть-чуть.

— Петька?—несмело зовет Сережа.

— А?—громко откликается Васька и поднимает голову.

Васька!.. Ведь видно, что Васька!.. Ведь это—Васька!

— Васька!—вскрикивает Сережа.

Но опять уткнул голову в колени Васька.

— Ты слепой стал, что ли?—серьезно говорит Дашка:—Петьку не узнал?.. Ты подойди поближе.

— Вот чудной,—качает головой Прокофий,—заладил одно: Васька.

— Петька!—робко зовет Сережа.

— А?—опять откликается Васька.

— Ну, Васька же... ну, смотри...—шепчет Сережа.

Он глядит на него, на Прокофия, на Дашку... Другая Дашка, другой Прокофий... Это, должно

быть, не Прокофий, и это—не Дашка... От костра по их лицам пляшут красные пятна, и лица не те, глаза блестят, носы длинные, от носов по щекам черные полосы.

Петька ли? Васька ли? Прокофий ли? Дашка ли? Сад ли? Огонь ли?..

— Ма-ма!—испуганно кричит вдруг Сережа.— Ма-ма!

Он поворачивается от костра к дому и, белее мела, бежит в темноту.

Темнота. Кусты. Дорожка... Где забор? Калитка?.. А дом? Есть дом?

— Ну, мама же! Мама! Мама!—во весь голос дрожа и плача, кричит Сережа... Весь опутанный темнотой и ветками и блеском огня сзади, и руками Дашки, бьется всем телом он и кричит:

— Мама! Мама! Мама!

Октябрь 1910 г.

СНЕГ

Ночь была светлая, как половина дня: полнолуние, снег и сосны. И на соснах, в лапах, цепко держались кое-где зеленоватые сугробы, а где-то в черноте крупно сияли льдинки, как светляки. И тихо было, так тихо, как-будто это уж после смерти снег, после смерти сосны, после смерти луна.

Геолог Бережной, адвокат Рябов и студент Василий шли на лыжах. Студент впереди, как здешний, Бережной и Рябов,—гости из города,—сзади гуськом.

— Вы больше ногами работайте,—смеясь учил Рябов Бережного:—Палки спрячьте под мышки и ногами вот так... таким образом.

И отзывался Бережной:

— Захотели вы от меня тоже чистоты отделки... Ведь я раз в год на лыжах хожу.

— Господа,—Сириус!—звонко перебивал Василий.—Смотрите вправо!

Колыхалась вправо ярчайшая из звезд, вытягивала зеленые рога и тут же прятала: сверкала плавно.

— Я его с восьми часов вечера наблюдаю. Все время меняется. Я от этого Сириуса с ума сойду.

— А вот налево красная, поменьше,—это какая?—спросил адвокат.

— Это Марс,—ответил Василий; добавил молодо:—Господи, славно жить!

Крикнул протяжно, прислушивался, есть ли эхо.

Сверкали сосны, точно обвешанные мелкими звездами: звездное небо,—звездная земля, и снег под лыжами был живой, певучий. Стоял крепкий мороз, но от бега всем трем было жарко, и снег представлялся теплым.

— Ласковый снег,—ласково сказал Василий.

— В одну я девушку был влюблен,—вспомнил вслух Бережной.—Жила она в Италии зимою, а я в деревне, в Курской губернии. Писала в каждом письме: „поцелуйте снег".

— Вы целовали?—спросил Рябов.

— Целовал, как же... Выходил в поле, ложился на сугроб и целовал.

Сосны были редкие и от них на снегу лежали сильные тени. Казалось, что по этим теням лыжи шли не так уверенно, как по ярким полянам.

А вот мелочь лесная, двух-аршинные сосенки убрались в снежные шапки и стали, точно старинные идолы.

— Ишь, — музей, капище!—кричит Василий. — Нет, вы посмотрите,—зимние гномы!

Обивал рукою пухлые шапки,—качались трясучие темные веточки.

Куропатка выскочила из-под самых лыж Рябова;—поднял шум Василий.

— Спала в снегу, дрянь!.. Вот бы ружье теперь! Где-нибудь близко села...

А за сосновым пошел березовый храм, с такими частыми беломраморными колоннами, и снег в нем стал тоже как-будто пол из мраморных плит.

Трудно было итти на лыжах без дороги, но такое родное все стало кругом, матерински родное, обняло, приголубило, — не обманет, ни за что не обманет.

Еще красивее, еще строже, еще ярче, чем сосны, были березы, как тихие невесты в алмазах.

— Была она белая, тонкая, высокая, — вспомнил Бережной вслух. — Звал я ее „Снежной королевой".

— Она, что же,—невеста ваша была?—спросил осторожно Рябов.

— Нет.

— Любила вас.

— Тоже нет. Позволяла только писать ей письма.

— И вы писали?

— Писал. Длиннейшие, зимние, деревенские... самые скучные в мире письма.

На поляну вышли.

— Господа, смотрите: пояс Ориона... А вон — Плеяды! — крикнул Василий, подняв голову, и не показал даже где, — зашуршал дальше со всей оленьей прытью молодых ног.

— Первый час... Будет,—домой пора,—сказал адвокат.—Вот будем чай-то пить, как приедем!

А небо не стояло на месте: опустилось небо, подошло ближе к земле; и как-будто где-то далеко в лощине туманней стало.

Глубокие следы чьих-то ног в стороне на поляне чернели, как речные полыньи, а около них отчетливей стлались полосы—слегка розовые, слегка искристо-голубые.

Повернули к дачам мимо длинных прясел,—Василий впереди, за ним Рябов, сзади всех Бережной. Отчеканились прясла на ярком снегу и так тепел, уютен был желтый огонек в каком-то далеком окне.

— Ее Елизаветой звали,—сказал Бережной Рябову, когда подошел к нему близко.—Но вот странность: писать ей нужно было „Елисавета"; звука „з" в своем имени она не выносила. Такая странность!

— Почему вы о ней все в прошедшем времени?—спросил чуть насмешливо Рябов.

— Почему?.. Видите ли... недавно умерла она— всего две недели назад... И схоронили ее там же, в Италии, в деревне около Неаполя.

— Да-а,—протянул адвокат.—Это жаль.

Посмотрел на небо, на желтый огонек дачи.

Двинул было лыжами, чтобы догнать что-то кричавшего впереди Василия, но показалось неловким уходить от Бережного.

Обогнули пять-шесть рядов частых прясел, взяли потом короткий накатанный путь, наперерез к желтому огоньку; скатились вниз с невысокой горки.

Недалеко от дачи, обвешанной точно изразцами длинными сосульками, догнал Василия Рябов; оглянулся на Бережного: — сидел он в сугробе, наклонив ушатую шапку.

— Что, упали? — смеясь, звонко крикнул Василий.

— Упал. Ничего, я сейчас, —отозвался весело Бережной.

Но не упал он: он просто стал на колени, молился тихо и целовал снег.

Декабрь 1910 г.

ПОЛУБОГ

В богатом Коринфе, у дома знатного Мегакла стояли рапсоды и пели.

Было двое рапсодов—молодой и старик.

Дряхлым разбитым голосом пел сначала старик, а молодой хмуро подыгрывал ему на семиструнной кифаре.

О чем может петь старик? Он пел о том, что в старину жарче грело солнце, тяжелее росли плоды, пьянее было вино. Он пел о том, что в старину жили герои, но никто не пришел им на смену. Он пел о том, как в темных пропастях Гадеса бродят печальные людские тени.

У Мегакла было пиршество. На длинной веранде за столом возлежали гости и пили густое кипрское вино из дорогих кубков.

И никто не слыхал старика.

Но кончил он, и запел молодой рапсод, запел звучным и властным голосом новые, непривычные для слуха песни. Могучим мастером были скованы песни и славили гордый человеческий ум.

„Человек—полубог, — говорили песни,—но придет время, и он будет богом.

„Человек—в мечтах,—говорили песни,—но придет время, и мечты будут делом.

„Туда, в сверкающую глубину новых веков, как прикованный, смотрит взор.

„Придет время, когда о том, что было, не будут лепетать и младенцы.

„Весь полный настоящим, весь творец будущего, непокорный и всем владеющий, будет стоять человек на побежденной им земле.

„А когда овладеет он всем, то будет богом".

И еще звучали последние звуки голоса и кифары, когда поднялись из-за стола гости Мегакла посмотреть на певца.

А он стоял молодой и стройный, с черными кудрями и гордым взглядом.

— Кто сложил эти песни?—спросили гости.

— Я слышал их,—отвечал рапсод,—еще мальчиком в родной Эанфии от Демада, изгнанника из Афин.

* * *

На другой день морем через Коринфский залив в маленькую Эанфию поехали трое богатых юношей, чтобы почтить Демада, как полубога.

— Он должен быть высок, как эта мачта!—говорил один из них, сияя глазами.

— Он должен быть могуч, как это море в бурю!—говорил другой.

— Он должен быть прекрасен, как вечерняя звезда на этом небе!—мечтательно говорил третий.

* * *

В маленькой Эанфии им показали Демада, изгнанника из Афин.

На грязной цыновке на дворе сидел дряхлый калека... Голова его серела остатками спутанных всклокоченных волос.

Черными костлявыми руками сосредоточенно и жадно искал он в изорванной тунике паразитов.

ЧЕТЫРЕ ПОДКОВЫ

У нее было четыре подковы... Может быть, пал ее караковый иноходец, может быть, нашла она их на пыльной дороге во время прогулок,—не все ли равно?—У нее было четыре подковы, а сама она была молода и красива.

Первую подкову она подарила вслед за первым поцелуем ветреному безусому юноше, будущему моряку, говоря:

— Возьмите на память: она принесет вам счастье.

— Я—не кузнец и не лошадь,—зачем мне подкова?—обиделся заносчивый юноша и швырнул тяжелую подкову в кусты.

Вторую она подарила вслед за первым объятием молодому, слегка ученому, довольному,—говоря:

— Возьмите на память: она принесет вам счастье.

Он рассмеялся весело: — Предрассудок! — но взял, уходя, не хотел обидеть. На дороге, в пяти шагах от нее, сунул подкову в задок встречной телеги, сказав мужику: — Пригодится, — не правда ли?—а сам пошел дальше, легкий довольный, веселый.

Третью она подарила вслед за первым падением молодому купцу, и купец взял ее, говоря:

— Будем думать, что она принесет мне счастье.

Он прибил ее на пороге дома, и входя и выходя наступал на нее сапогом.

И тот, кому она подарила четвертую подкову, обменявшись с ним только светлым и грустным взглядом и ничего не сказав о счастье, посеребрил ее и вырезал на ней имя женщины, и год, и число, и час.

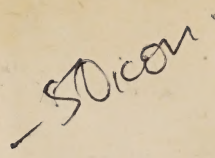
Над письменным столом его висела белая, одетая в серебро, подкова, рядом с картинами художников, такое же вдохновенное создание искусства, только еще более близкое, еще более дорогое.

От простой, хотя и одетой в серебро, скромной подковы шло очарование загадочной женской души, которая никогда не знает, чего она хочет, никогда не знает, куда идет, всегда спрашивает и всегда забывает ответы.

И подкова принесла ему счастье,—так как есть оно в длинных воспоминаниях о мимолетном, в шорохе падающих листьев, и вечернем небе, то зеленом, то палевом, то лиловом, почти человечески страдающем перед тем, как совсем погаснуть и слиться с землей.

Этот четвертый был поэт.

Ноябрь 1911 г.



(8)

2 -

Nr. 26.285/86

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00004105694